

Михаил Петрович Арцыбашев

Человеческая волна



Михаил Петрович Арцыбашев

Человеческая волна

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2827445

Аннотация

«Можно было забыть, что через несколько часов город будет разгромлен пушками, что на тротуарах будут валяться окровавленные трупы, что жизнь приняла странные и тревожные формы, что судьба каждого человека висит на волоске, но нельзя было забыть, что на земле стоит теплый, весенний вечер, в потемневшем небе тихо зажигаются звезды, от газонов бульвара тянет густым, пряным запахом земли, с моря дует теплый, почти летний ветер и дышится так легко, как может дышаться только теплой, тихой и ясной весной...»

Содержание

I	4
II	18
III	29
IV	34
V	46
VI	55
VII	66
VIII	76
IX	91
X	98
XI	113
XII	124
XIII	139
XIV	151
XV	171
XVI	178
XVII	194
XVIII	204

Михаил Петрович Арцыбашев Человеческая волна

I

Можно было забыть, что через несколько часов город будет разгромлен пушками, что на тротуарах будут валяться окровавленные трупы, что жизнь приняла странные и тревожные формы, что судьба каждого человека висит на волоске, но нельзя было забыть, что на земле стоит теплый, весенний вечер, в потемневшем небе тихо зажигаются звезды, от газонов бульвара тянет густым, пряным запахом земли, с моря дует теплый, почти летний ветер и дышится так легко, как может дышаться только теплой, тихой и ясной весной.

И оттого самые страх и тревога принимали форму любопытного и бодрого оживления, а идя через городской сад и глядя вверх, где между черными веточками, отчетливо чеканящимися в воздушно-синем просторе, золотистыми искорками мигали звезды, студент Кончаев думал не о том, что будет завтра, не о взбунтовавшемся броненосце, серые трубы которого и в весеннем сумраке жутко чернели далеко на море, не о многоголосой толпе, из которой он только что вы-

рвался и гул которой все еще стоял у него в ушах, а о том, что на свете есть радость и красота.

И в душе у него было такое чувство, точно где-то тут, вокруг него, во влажном, свежем и темно-прозрачном воздухе весеннего вечера невидимым хороводом обвиваются, улыбаясь и маня, милые, нежные девушки и гибкие, лукавые женщины сладострастных снов. Грудь дышала легко и глубоко, по телу распространилась какая-то мечтательно-сладкая истома, и хотелось чего-то сильного, красивого и страстного до восторга.

«Хорошо, интересно жить!» – бессознательно чувствовал Кончаев.

Ему захотелось сейчас же, никуда не заходя, пойти в тот знакомый переулок, где жила Зиночка Зек, потихоньку вызвать ее на темную улицу, рассказать ей что-то хорошее, задушевное и в сумраке близко смотреть на нежное, молодое, как весна, личико с большими, как будто радостно удивленными светлыми глазами и мягкими пушистыми волосами, что двумя недлинными косами перекинута через гибкие плечи на невысокую молодую грудь.

Но Кончаев сейчас же вспомнил, что раньше надо разыскать доктора Лавренко и передать ему предложение комитета об организации летучего санитарного отряда.

Ему сделалось немного стыдно, что он чуть было не забыл о важном большом деле, но так было сильно в нем радостное, весеннее чувство, что и сам доктор, и летучий лазарет, и зав-

трашнее страшное и кровавое дело никак не укладывались в его мозгу и все казались ему короткими, мелкими, которые сейчас пройдут и исчезнут, и тогда можно будет делать самое важное и интересное: идти к Зиночке Зек, вызвать ее на темную, тихую и теплую улицу.

Сдвинув шапку на затылок, распахнув пальто и бессознательно, но радостно чувствуя себя сильным и красивым, Кончаев повернул за угол и сразу увидел желтые огни ресторана, где, как он отлично знал, всегда можно найти доктора Лавренко.

В ресторане было очень мало народу – все ушло на улицы, набережные и бульвары, и оттого ресторан казался по-праздничному прибранным, чистым, а открытые окна, от которых глаз отвык за зиму, придавали ему особенный, свежий и праздничный вид. Зато в бильярдной, несмотря на раскрытые окна, было по-обычному душно, накурено и шумно. Игроков было много, и их напряженные потные лица, со странным полубезумным огоньком в глазах, поразили Кончаева.

«Вот уж ничто их не берет!» – со смешливым и чуть-чуть презрительным недоумением подумал он.

Доктор играл за вторым бильярдом, и когда Кончаев его увидел, Лавренко, перегнув над ярко-зеленым сукном бильярда свое большое ленивое тело, уверенно и странно-ловко для такого большого неуклюжего человека целился в дальний шар, красиво маячивший на ровном зеленом поле.

«...Тра-тах!» – щелкнули шары и разбежались во все сто-

роны торопливо и весело, как живые.

Кончаев сзади взял доктора за локоть.

– А, шо? – лениво спросил Лавренко, оборачиваясь. – А, это вы!

– Я, здравствуйте!.. Послушайте, доктор, вы скоро кончите?.. Мне с вами надо поговорить...

– Сейчас, – не поворачиваясь и не спуская глаз с повисшего над лузой шара, ответил Лавренко и пошел кругом бильярда.

– Четырнадцать в угол налево, – громко и отчетливо выкрикнул он, не обращая внимания на Кончаева, и с особой своеобразной грацией хорошего бильярдного игрока вперед и назад взмахнул кием.

Белый шарик, как белая молния, мгновенно мелькнул по зеленому полю и с характерным треском скрылся в лузе.

– Партия, – торжественно провозгласил маркер и длинной машинкой загреб остальные шары к борту.

Высокий черный армянин, партнер Лавренко, с досадой швырнул свой кий на сукно. Лавренко с минуту стоял, опершись кием на бильярд, и самодовольно глядел на армянина. Потом с сожалением глубоко вздохнул и, тихо положив кий, отошел к умывальнику.

– Ну, голубь мой, в чем дело? – мягким и ленивым голосом спросил он у Кончаева, старательно вытирая полотенцем пухлые, как у булочника, безволосые и белые руки.

– Тут неудобно, – сдержанно и выразительно ответил Кон-

чаев, искоса оглядываясь, – пойдете лучше пройдемтесь.

Лавренко опять тяжело вздохнул, посмотрел на бильярд, которым уже завладели какие-то люди с сомнительными жадными физиономиями, и с усилием стал натягивать заворачивающееся пальто на свои круглые, как у пожилой толстой бабы, массивные плечи. Маркер подержал ему рукав.

– Анатолий Филиппович, время за кем прикажете? – спросил он, и по его почтительно фамильярному тону видно было, что доктор Лавренко тут свой человек.

– За ними, за ними, Иван, – машинально, но почему-то очень грустно отозвался Лавренко.

Они медленно вышли на темную улицу, и сразу им в лица пахнуло свежестью, ветром и смешанным запахом сырости и тепла. Фонари не горели, и земля была черна, как тьма, но отовсюду во мраке слышались голоса и смутно виднелись живые тени.

Все было странно и необычно: и мрак, и закрытые окна магазинов, и громкие возбужденные голоса, и необычное таинственное движение невидимых, но чувствуемых вокруг людей. В этом было что-то лихорадочное, пугающее, но возбуждающее сердце к каким-то несознанным порывам. Как будто над городом пронеслось что-то свободное и, одним взмахом невидимого могучего крыла сметя всю привычную аккуратную жизнь с ее порядком, равномерным шумом и тусклыми огнями, открыло жизнь новую, загадочную, тревожную и бодрую, в которой было что-то похожее на пред-

рассветную зыбь в море.

Чем дальше углублялись во тьму улиц Лавренко и Кончаев, тем сильнее охватывало их радостное оживление. Вокруг в темноте двигались целые толпы, слышались голоса и смех, изредка то близко, то далеко вспыхивало и обрывалось начало песни. Было похоже на какой-то ночной праздник, и в темноте все люди казались одинаковы и одинаково радостны и бодры.

Кончаев, как молодая собака в поле, чутко поворачивал во все стороны голову.

– А здорово, ей-богу! – вскрикнул он молодым восхищенным голосом.

– Да!.. Надолго ли только?.. – тихо пробормотал Лавренко.

– Ну, что ж?.. Все равно! – еще громче, еще моложе крикнул Кончаев, коротко и бесшабашно махнув рукой. – Важно то, что все почувствовали, что такое свободная жизнь, почувствовали, как с нею и все становятся лучше, общительнее, интереснее... Этого уж не забудут, а все остальное чепуха.

– Верр-но! – необычайно внушительно и так неожиданно близко, что Лавренко даже отшатнулся, прогремел из темноты громадный бас. – Р-руку, товарищ!..

Перед ними выросло несколько темных, как будто безличных силуэтов, и кто-то нашел и сжал руку Кончаева твердой шершавой ладонью.

– Свобода, а на все прочее начхать!.. Правильно я говорю, товарищ? – пробасил голос.

– Правильно, товарищ! – задушевно и ласково отозвался Кончаев.

– Пушай завтра все помрем, а уж мы им покажем, – сказал еще чей-то голос, такой же молодой и задорный, как у Кончаева.

– Да, да... – тяжело вздыхая, согласился Лавренко.

Они разошлись, но у Кончаева еще долго сердце билось восторженно и на глазах выступали слезы.

– Взять хоть одно это слово: «товарищ», – прерывисто говорил он, глядя перед собой в темноту широко раскрытыми, влажными глазами, – только в такое время люди чувствуют, что они действительно товарищи...

– По несчастью... – с тихой иронией подсказал Лавренко. – Впрочем, вся жизнь человеческая – несчастье, – прибавил он задумчиво.

– Ну, так что же вы мне скажете, голубь мой? – спросил он, когда они дошли до бульвара и остались одни среди еще черных прозрачных деревьев и запаха первой травы перед лицом далекого звездного неба. Днем отсюда было видно открытое, голубое море, на которое каждый день приходил подолгу смотреть Лавренко, но теперь было темно и только по тому, как низко, точно подвешенные над какой-то пустотой, блестели звезды, чувствовалось оно. Горизонта нельзя было отделить от черного неба, и все сливалось в одну воздуш-

ную безграничную пустоту. Далеко, далеко внизу слабо светились два неподвижные огонька, красный и зеленый.

– Вон видите, – оживленно и быстро сказал Кончаев, протягивая куда-то во мрак руку, – это, должно быть, на броненосце.

По звуку его голоса можно было догадаться, как блестят у него глаза и горят щеки.

Лавренко тяжело вздохнул в темноте. Лица его тоже не было видно, но чувствовалось, что оно тревожно и грустно.

– Что-то будет, что-то будет, голубь мой, – тихо и печально проговорил он.

– Ну, вас, кажется, это не очень беспокоит, – вспоминая бильярд, смешливо возразил Кончаев.

Лавренко вздохнул еще глубже и промолчал.

– Так вот что, доктор, – заговорил Кончаев, беря его под толстую теплую руку, и, сразу меняя тон на серьезный и даже неестественно торжественный, передал Лавренко распоряжение комитета.

Лавренко слушал молча, а когда Кончаев замолчал, опять тяжело вздохнул.

Эти вздохи почему-то раздражали Кончаева.

– Да что вы все охаете, доктор? – досадливо спросил он, выпуская его руку.

– Да что, голубь мой, – искренно и мягко ответил Лавренко. – Грустно все-таки...

– Что ж тут грустного?

– Будут стрелять, народу перебьют много, а что из того? Для чего?

– Как для чего? – вспыхивая, переспросил Кончаев. – Жертвы нужны для каждого большого дела. Без этого нельзя... За что? За общее дело, за свободу.

– Для кого? – тихо спросил Лавренко.

Кончаев почувствовал, что доктор грустно улыбается во тьме.

– Для всех! – мгновенно раздражаясь молодым и пылким задором, ответил он.

– Нет, не для всех... – еще печальнее и тише возразил Лавренко. – Свобода будет для тех, кто останется в живых, кто в число жертв не попадет, голубь мой... А для тех, кто погибнет, будет уж не свобода, а только смерть... Те, которые принесут в жертву сотни жизней, будут видеть: для чего, за что, а те, которые умрут, умрут, голубь мой, так, ни за что, ибо для них все будет кончено, и кто же покажет им, за что они умерли... Да!.. Если бы можно было верить... Не говорю уже в будущую жизнь, а хоть в торжество своей идеи... Но люди живут уже тысячелетия, а посмотрите: не несчастнее ли они тех, что умерли еще в каменном веке? Кто знает?.. Эта радость, которую мы видим сейчас в людях, не есть радость победы, а только оживление борьбы и самообман. А если бы мы и победили, то кто же поручится, что и через тысячу лет, когда принципы нашей революции восторжествуют, люди будут на йоту счастливее... Да, голубь мой!.. С боль-

шим страданием и скорбью можно думать о борьбе, ибо ничего тут не поделаешь, но радоваться тут нечему. И ни один человек, совершенно спокойно, а не в состоянии аффекта, не согласится на роль жертвы, всякому хочется жить и пережить, и получить свободу именно и прежде всего для самого себя... У всякого есть надежда, что убьют не его... Оттого только и идут.

– Не все так думают, – пожал плечами Кончаев, почему-то не удерживая в мозгу все слова Лавренко и возражая только последним, – многие жертвуют совершенно сознательно... Да что! Я, например, вовсе не герой, но никогда об этом не думал. Ну, убьют... что ж из этого? Умирая, я буду сознавать, что погиб за общее дело, за огромное дело, в миллионы раз большее моей маленькой личной жизни.

– Это потому вы будете так сознавать, голубь мой, – ласково проговорил Лавренко, – что это общее, как вам кажется, дело есть прежде всего ваше дело. Вы хотите свободы, хотите, выражаясь грубо, поставить на своем, сделать революцию и освободить людей, и за это ставите свою жизнь на карту. Это так, и я это понимаю... Но мне кажется, что вы ставите революцию выше своей жизни только потому, что вы еще очень молоды душой и не успели сознать, какое единственное, ни с чем не сравнимое сокровище для вас – ваша жизнь.

– А вы сознаете, – насмешливо вставил Кончаев, взгляды-вая на него сверху вниз и ничего не видя, кроме бледного, расплывчатого пятна.

– Я сознаю, – тихо ответил Лавренко. – Ведь все, что есть вокруг, существует только потому, что вы существуете... Это старая мысль, голубь мой, конечно... А только все-таки это правда... Как хорошо все, что вокруг нас... И море, и звезды, и ночь, и наше созерцание!.. Сколько на земле радости, жизни, солнца!.. Ведь мы только потому и бьемся так за свободу для всех, что жизнь так хороша и что много есть людей, которым не дают жить, отнимают у них всякую радость и преждевременно гонят, вколачивают, вмаривают их в могилу... Если бы жизнь для каждого человека не была так дорога, так чего ради стали бы мы так страдать, мучиться и бороться за нее для всех... Ну, гонят их в могилу, и пускай. Стоит ли из-за этого беспокоиться... Тогда не революционные, а самоубийственные идеи стали бы мы проповедовать... И самым великим человеком, истинным благодетелем человечества считался бы тот, кто выдумал бы рациональнейший безболезненный способ самоубийства... Оттого, что жизнь так светла сама по себе, оттого и чувство самопожертвования так светло... Жертвуется самое дорогое, самое светлое, самое незаменимое... Я, голубь мой, жизнь люблю, люблю солнце, милых девушек, молодость, воздух, счастье люблю!..

В его всегда ленивом голосе зазвенели и сорвались страстные и скорбные нотки.

«Вот... а сам только и делает, что на бильярде играет!» – удивленно мелькнуло в голове у Кончаева, и тихая задумчивость залегла у него в душе, точно кто-то задал ему глубокую

и печальную загадку.

– Но вы, однако, предложение комитета принимаете все-таки? – озабоченно встряхнув головой, после долгого молчания спросил он.

Лавренко ответил не сразу.

– Об этом что говорить... – медленно ответил он. – Хотя, по правде сказать, трудно это для меня.

– Почему?

– Ленив я очень, – улыбаясь в темноте, ответил Лавренко, – а главное, что греха таить, боюсь... Боюсь, голубь мой... Вы знаете, чем это кончится... Нас, конечно, разобьют, потому что силы у нас мало, организация слабая, а тогда, если не убьют раньше, многих постигнет такая расправа, что... Ну, да что об этом говорить! – повторил, махнув рукой, Лавренко. – Вы куда теперь?

Смутная тревога шевельнулась в мозгу Кончаева. Но он опять встряхнул головой и ответил:

– Я тут недалеко, к знакомым.

– Ну, прощайте, голубь мой, может, завтра еще увидимся! Лавренко подал ему свою руку, и Кончаев не сразу нашел ее в темноте. Рука доктора была горяча и как будто слегка дрожала.

– Тогда можно будет бежать за границу, – неожиданно сказал Кончаев, отвечая тому внутреннему, что как будто передалось ему по руке доктора.

Лавренко помолчал, точно обдумывая.

– Нет, где уж мне, голубь мой, бежать! – с добродушно-грустной иронией возразил он. – Толст я очень, не побегу.

– Да вы не волнуйтесь так, доктор, – весело сказал Кончаев, крепко встряхивая его руку. – Может, еще ничего ужасного и не будет.

– Боюсь, голубь мой, боюсь, – с грустной стыдливостью ответил Лавренко. – Не хочется умирать!.. Страшно и жаль всего белого света! Ну, прощайте пока!.. А ужасное и сейчас есть, и, быть может, оно-то и есть ужаснее самой смерти.

– Что? – не поняв, спросил Кончаев.

– То, что мы, люди, располагающие огромным красивым земным шаром, прекрасным сложным умом и богатыми чувствами, должны бояться, что вот придет самый глупый и самый дрянной из нас и простой палкой расколется нам череп... точно пустой глиняный горшок, в котором никогда ничего и не бывало... Какую же роль играет тогда и этот ум, и чувства?

– Ну, это...

– Да, смерть – это непреложный закон, но в такие моменты яснее и неотвратимее ее видишь, а главное, ужасно то, что мы сами, вместо того, чтобы напрячь все человеческие силы и умы для борьбы с нею, сами приближаем ее к себе, и в какой гнусной, отвратительно бессмысленной форме... Ну, да что уж тут... Прощайте, голубь мой!.. дай вам Бог!..

Они разошлись, и Кончаев долго слышал за собой удаляющийся шорох подошв доктора. Он снял фуражку, тряхнул

по своей привычке головой, опять надел ее и моментально вспомнил о Зиночке Зек, забыл все, что чувствовал, пока говорил доктор, и пошел вдоль бульвара, с наслаждением подставляя грудь упругому морскому ветру, чуть слышно налетавшему откуда-то из звездного мрака.

Две крупные неподвижные звезды низко блестели перед ним, не то близко, не то далеко.

II

В узком переулке, где жила Зиночка Зек, было так темно, что Кончаев вспомнил свое детство и свой уездный, глухой городишко. Свет падал только из окон и ложился на белую пыльную мостовую длинными яркими полосами, от которых мрак вокруг еще более чернел и сгущался.

Кончаев подошел к окнам и через узкий палисадник заглянул в комнаты. Как всегда, когда из темноты смотришь в освещенный дом, там казалось удивительно светло, нарядно по-праздничному, точно ждали гостей. В столовой, однако, никого не было, и на белой скатерти одиноко блестел потухший самовар. В другой комнате, за тюлевыми занавесами, горели свечи и расплывчато виднелись люди. Два силуэта были темны, а два белели сквозь тюль, и нельзя было узнать, кто это.

В гостиной было полутемно и красно от большого абажура, неярко багровевшего в углу, как огромное огненное насекомое, усевшееся на стену. Через открытое окно слышались звуки рояля, тихие и редкие, точно кто-то, задумавшись, трогал клавиши кончиками пальцев, и по знакомому, сладко-тревожному замиранию сердца Кончаев почувствовал, что это она – Зиночка. Он облокотился на решетку палисадника, инстинктивно принял красивую позу и, глядя в окно, тихо позвал:

– Зиночка!.. Зиночка!..

Редкие хрустальные звуки продолжали медленно сплетаться в какой-то задумчивый мотив.

– Зиночка! – громче позвал Кончаев.

Звуки оборвались. Скорее почувствовалось, чем послышалось легкое движение, и в освещенном окне, несмотря на напряженное ожидание, все-таки неожиданно обрисовался мягкий и милый силуэт девушки с невысокой грудью и покатыми полными плечами. Отчетливо было видно, какая тонкая и гибкая у нее талия и как золотятся на красном свете пушистые волосы.

Она облокотилась одним локтем на подоконник и, вся изогнувшись, выглянула в окно. Темный силуэт женской головки смотрел прямо на Кончаева, но с каким-то сладким, смешливым умилением он догадался, что она его не видит.

– Кто это? – спросил звучный и свежий голос. Кончаев улыбался ей и молчал.

– Кто там? – повторила Зиночка, но Кончаев опять промолчал. Видно было, по нерешительным движениям плеч и груди, что она начинает волноваться. Кончаеву хотелось откликнуться и засмеяться, но что-то нежно-игривое удерживало его. Он чувствовал, что она хочет уйти и не может и тоже чувствует что-то особенное. И между ними создалась какая-то молчаливая волнующая игра, от которой у него усиленно и напряженно билось сердце, а у Зиночки быстро и густо розовела нежная кожа на щеках и висках. Она улыба-

лась в темноту нерешительно, стыдливо и весело, а потом вдруг вся задвигалась, будто порываясь уйти от чего-то волнующего и непонятного. И в эту минуту Кончаев, точно его толкнуло, быстро сказал:

– Зиночка, это я...

Было видно, как она вздрогнула и на мгновение вся замерла.

– Выходите сюда, – тихо и осторожно говорил Кончаев из темноты, – пойдете гулять.

Зиночка помолчала, и это молчание волновало Кончаева.

– Сейчас, – наконец отозвался милый голосок, и Зиночка откинулась назад. Темный густой силуэт исчез, и опять стало видно красное пламенеющее насекомое, неподвижно сидящее в углу на стене, точно подстерегая кого-то.

Несколько минут было темно и пусто. Кончаев, прислонившись спиной к решетке, стал смотреть высоко на небо, где было так много звезд, что казалось, будто темное небо густо запылено золотом. Далеко, далеко, еще дальше и выше звезд, воздушно и грустно пылился Млечный путь. Звезды тихо и таинственно шевелились в непостижимом холодном молчании, и, чем больше смотрел на них Кончаев, тем выше и дальше уходили они в свой холодный, темно-синий простор.

И почему-то Кончаеву стало грустно. Тихая тоска, как тонкая змейка, чуть-чуть, но зловеще шевельнулась у него в сердце. Так ясно, как никогда, представилось ему, какое

страшное, неизмеримое расстояние отделяет его от этих загадочно прекрасных миров, какой ничтожно маленький он сам, посреди этой необозримой бездны, и как мала та земля, на которой, в темном и узком переулке, он стоит. Как будто от прикосновения какого-то ледяного дыхания стало холодно, жутко и тоскливо.

«Ведь это все такие же миры, такая же жизнь... – подумал Кончаев. – Может быть, где-нибудь там уже пережили все, что можно пережить в вечности, и, ни к чему не придя, жизнь замирает в неведомых нам муках. А где-нибудь она только расцветает, и не так, как у нас, а вся под солнцем, в цветах и радостях... И никогда, никогда я не узнаю, что там такое. Когда-нибудь земля умрет, а это все останется, и такое же холодное, необъятное будет небо, так же будет пылиться Млечный путь и шевелиться звезды. Что же значит вся моя жизнь, наша революция?.. Где она, попросту говоря?.. Стоит ли тогда и...»

Странно тускло вспомнились ему события сегодняшнего дня: Лавренко, толстый ленивый человек, железный короб в далеком море, плавающий, как будто это не щепка, а что-то большое и даже вечное, завтрашний день... Вдруг злоба, бессознательная, разгорающаяся с мгновенной быстротой, как молния, выйдя откуда-то из тайников сжавшегося сердца, ударила ему в голову. Ей не было выхода и не было предмета, все было величаво пусто и недостижимо холодно. Мучительная пустота, как белый едкий туман, наполнила го-

лову, и Кончаев бессильно и болезненно сжал кулаки. Но в эту минуту где-то робко щелкнула калитка, и что-то заблестело во мраке, как легкое облачко, колеблемое ночным ветром.

И, забывая все свои думы, Кончаев инстинктивно сдвинул фуражку еще дальше на затылок и с радостью, ощущая красоту и мужественную силу своих движений, пошел навстречу Зиночке. Она подала ему свою теплую маленькую ладонь и снизу смотрела на него своим нежным, молодым, как весна, личиком, с большими, как будто радостно удивленными глазами.

– Здравствуйте, – сказал Кончаев всей грудью. – Куда же мы пойдем?.. На берег?.. Через сад?..

Зиночка вскинула на него глазами.

– Ну, через сад...

Молча вышли они из переулка на опустевший бульвар, прошли его медленно, оба невольно глядя на далекие красные и синие огоньки, и вошли в темную аллею сада, тихо заскрипевшую под их ногами смутно белеющим в темноте гравием. Полная тишина охватила их со всех сторон, точно здесь было ее тихое царство. Вокруг были темные кусты и деревья, черный мрак стоял за ними, то сгущаясь в кустах, то расплываясь на полянках, а впереди, над самой землей, странно, как во сне, низко блестела яркая звезда. И казалось, что она блестит в конце аллеи и они идут прямо к ней.

Уже давно их прогулки были так молчаливы, напряженны

и странны, как недоговоренное слово, потому что те горячие и яркие мысли, которые торопились они высказать друг другу раньше, вдруг как-то иссякли, потускнели и стали лишними, как покровы даже самой легкой материи между двумя горячими, ищущими ласк и объятий молодыми телами. Что-то ждало в горячей истоме, стремилось друг к другу и жгло, но молодость и чистота стояли между ними прозрачным холодом, и нельзя было ни сказать того, ни прикоснуться друг к другу. Это было бы страшно, и казалось, что тогда должно случиться что-то роковое, желанное, но невозможное., о чем даже думать нельзя.

Так шли они и теперь, и мрак, теплый, томительный и пахучий, стерег их горящие желанием ласки лица от взглядов друг друга. Было тихо, и осторожно скрипел песок под ногами.

И странно было, что не он, сильный и смелый, а она, маленькая и нежная, первая нашла слова.

– Ну, что же будет завтра? – чуть слышно, точно боясь чего-то, вздрагивающим голосом проговорила Зиночка, не спуская зачарованных глаз с блестящей сказочной звезды, повисшей над черной землей.

Кончаев стал говорить. Голос его был неуверен, и он сам видел, что говорит совсем не то, что хотелось бы ей рассказать и что мучило и волновало его сегодня целый день. Как иногда в блестящей, брызгающей разноцветными звуками музыке все время звучит одна странная, как будто тай-

ная, однообразная и волнующая нота, которую и слышишь, и не слышишь, – так сквозь те слова, которыми Кончаев пылко и громко старался описать прошедший день, слышалось все время что-то другое, и он сам, и Зиночка бессознательно прислушивались к этому другому.

– Трудно, конечно, предугадать, что будет... Весьма возможно, что часть войск перейдет на нашу сторону, потому что это уже не рабочие, в которых так легко можно видеть чужих, врагов, а свой брат солдат... Интересы общие...

«Милая, милая, милая!..» – тихо и нежно пела тайная нота в звуках его яркого молодого голоса.

– Но стрелять все-таки будут? – спрашивала Зиночка, и бедная головка ее закружилась.

– Милый! А как же... я не хочу, не могу! – едва не крикнула она, едва не схватила его своими гибкими молодыми руками, чтобы прижать к груди его голову, не дать, защитить своим телом.

– Да, конечно... – ответил Кончаев. – Без этого у нас нельзя.

– Да? – вздрогнувшим голосом переспросила во мраке Зиночка, и Кончаев понял, «чего» она боится, но от этого сознания стало так хорошо, что он засмеялся.

– Сядемте, – прошептала Зиночка, почему-то смущенно радуясь и пугаясь его смеха.

И вдруг всем телом почувствовала, что «этого» не может быть, что он не может исчезнуть, уйти из ее жизни, в которой

он все и она вся для него.

Они сели в глубокой и теплой тени и уже не видели даже смутных силуэтов друг друга. Вокруг были мрак и теплый влажный запах лесной глубины, точно они сидели не в городском саду, а в самой чаще глубокого темного леса, где на тысячу верст вокруг были только тьма, звезды, душная теплота, томящий запах весны и два бьющиеся так близко друг от друга молодые горячие сердца.

Так хотелось найти в темноте эту милую, теплую талию, ощутить сквозь жесткую ткань строгого платья ее мягкость и безвольность, сдавить в бесконечном порыве радости, счастья и страсти, уничтожить, замучить, а потом посадить ее, маленькую, слабую, на колени и баюкать в бесконечной ласке и нежности, так, чтобы теплые слезы любви и восторга сами выступили на глазах. И по странному трепету, по той непонятной волнующей связи, которая, как струна, напрягалась между ними, Кончаев чувствовал, что она понимает его, ждет, боится и томится еще непонятным ей желанием, как цветок под солнцем.

Но что-то по-прежнему удерживало их, лживо шевелило губами и говорило о далеком, о другом.

– Завтра я побываю на броненосце, но главным образом должен быть в порту и стараться помешать разгрому. Если они перепьются, все пропало... будет бессмысленная бойня, и только.

– Зиночка, а вы будете плакать, если меня завтра убьют? –

весело и лукаво спросил он.

Что-то вздрогнуло возле него, и неожиданно руку его обожгло прикосновение ее нежных и робких пальцев. «Милый, зачем? Это жестоко!» – с укором сказала это прикосновение.

Голос Кончаева оборвался неожиданно и бессильно. В первый раз он вдруг почувствовал, что надо взять эту руку и поцеловать и что это можно и будет хорошо. Он осторожно-осторожно поднял к себе горячую мягкую ладонь со свежим, ударившим ему в голову милым запахом и так же осторожно поцеловал ее, раз и другой. Рука тихо вздрагивала после каждого поцелуя, но лежала в его руке безвольно, покорная, слабая.

Настала напряженная тишина. Что-то неудержимо росло, неодолимо тянуло друг к другу, и казалось, что уже нельзя больше сопротивляться. Странная слабость разливалась по всему телу, голова тихо кружилась, мрак по сторонам сгущался плотной, непроницаемой стеной, и все исчезало, кроме чуть белеющих в темноте странных лиц с полузакрытыми, загадочно поблескивающими глазами.

Тишина стояла вокруг, отделяя их от всего мира, и только звезды, молчаливые и яркие, блестя, проникали сквозь мрак и молчание и светили им в лица, слабо озаряя их сказочным неверным светом.

– Ну, пора домой! – слабо сказал точно откуда-то издали вздрагивающий голосок Зиночки.

И с трудом, преодолевая сладкий истомный сон, мучая се-

бя и его, точно отнимая что-то у своей жизни, она медленно встала, нерешительная и колеблющаяся, как белая былинка во мраке.

Кончаев тоже встал и провел рукой по волосам и глазам.

– Ах, Зиночка, Зиночка! – тихо, почти одними губами проговорил он, не в силах даже для себя в словах выразить то, что переживали его молодое сильное тело и молодая горячая душа.

Но она уже стояла посреди дорожки, и ее смутный белеющий силуэт как будто расплывался, готовый исчезнуть во мраке.

– Идемте, – повторила она негромко, – нас ждать будут... И, колеблясь в темноте, пошла от него.

Но вместо того, чтобы идти из сада, Зиночка пошла вниз по аллее, идущей к самому морю; Кончаев пошел за ней.

С ветром и влагой в упругом воздухе открылась перед ними темная ширина. Волн не было видно, и только иногда то тут, то там вдоль темной линии мола смутно появлялись и исчезали белеющие полосы, точно кто-то белый быстро выглядывал и мгновенно исчезал в темной колышущейся массе, отливающей мрачным черным блеском.

Непрестанный шум стоял в безграничном просторе. Он рождался где-то далеко, на неведомых горизонтах и, грозно нарастая, бежал прямо на берег. Что-то бухало на деревянный мол, как в пустой барабан, и потом бессильно падало, мокро плеская по камням. А сзади опять рос и бежал на бе-

рег новый нарастающий ропот.

Зиночка долго стояла на самом краю, одна, тоненькая, в развевающемся от ветра белом платье. Вокруг нее было широко, пусто и ветрено, все наполнялось гулом, звоном и плеском непрерывного могучего движения, и казалось в темноте, что она отделяется от берега и вот-вот сейчас, как легкая вольная птица, полетит быстро и низко над самой черной, блестящей, движущейся водой, веющей глубиной и страхом, вдаль, к неведомым широким горизонтам.

Странные думы овладевали ею. Что-то чистое и милое, такое нежное, такое славное просилось на волю из ее молодого, свежего тела, с широкими, упругими бедрами, невысокой сильной грудью, на которой, волнуяще легко, точно стремясь улететь и бесстыдно обнажить ее, трепетало легкое белое платье. В душе была настойчивая жажда чего-то, чего она еще не знала и не могла понять: и радость грустная, и грусть радостная, и плакать хотелось, и смеяться.

А гул моря, все так же нарастая, бежал на берег, и грудь невольно выгибалась навстречу упругому влажному ветру.

Она не видела Кончаева. Перед нею были только море, мрак и чистые звезды, но всем существом своим она чувствовала его где-то тут, близко, милого, сильного, и хотелось ей оглянуться и почему-то страшно было увидеть его.

Далеко, далеко, точно с края света, через верхушки невидимых волн, то показывались, то пропадали предостерегающие огни.

III

Лавренко грузно и медленно, тяжело понутив голову, дошел до конца бульвара. На углу он нанял извозчика и с ласковой иронией сказал ему:

– А шо, гражданин, лошадь твоя скорее бегать может? Извозчик молча повел головой, так что нельзя было понять, уразумел ли он, доволен или недоволен шуткой, и задергал вожжами.

Одну за другой проезжали они темные улицы. Было уже поздно и пусто. Глядя на огромные темные дома, в которых как-то не представлялась жизнь, Лавренко думал о том, что многих из людей, которые теперь крепко и спокойно спят здоровым сладким сном, завтра уже не будет. И люди эти не знают своей судьбы, и это ужасно.

– Разве они спали бы, если бы знали, что через несколько часов... что осталось всего несколько часов жизни... что надо дорожить каждым мгновением, смотреть, запомнить, изжить эту жизнь, которая так мучительно дорога и которой осталось так мало...

Ему показалось, что было бы лучше, если бы знать. Неожиданность и неизвестность пугали, как черная пустота.

Но тут Лавренко отчетливо, но не умом, а как-то одними нервами, мгновенно обострившимися до боли, представил себе весь тот кошмарный ужас, те зловещие предсмертные

судороги жизни – крики и слезы отчаяния, – которые наполнили бы эти темные молчаливые дома и нелепо-ужасно всколыхнули бы тьму и тишину ночи, если бы все эти приговоренные вдруг узнали, как близка от них смерть и как мало, как бессмысленно мало осталось жить.

Мелкая неприятная дрожь пробежала по его согнутой толстой и рыхлой спине.

– Бог с ним... уж лучше не знать! – мысленно махнул рукой Лавренко и, стараясь не думать и скрыть от самого себя холодное, зловещее предчувствие, стал вызывать в памяти всевозможные, самые пустячные и пестрые впечатления дня. Сначала это было трудно, и в то самое время, когда он думал, что думает о другом, вдруг мучительно оказывалось, что где-то еще глубже и в самых тайных изгибах мозга остро и болезненно шевелится это ползучее, липкое и всеобволакивающее предчувствие ужаса. Но потом мысли устали и сами, почти незаметно, ушли в сторону. Вспомнился ему Кончаев, и его юное, бесшабашно смелое лицо, с фуражкой на затылке и с мягкими волосами, легко закрученными на висках, ясно встало перед ним в сумраке тихой ночи.

«К Зиночке пошел, конечно!» – подумал он и, закрыв глаза, вызвал перед собою милое личико с розовыми пушистыми щеками, с двумя недлинными толстыми косами на покатых плечах молодой-молодой девушки.

Нежная и тайная грусть, которая всегда овладевала им при виде первой, нежной и красивой женской молодости, ти-

хо шевельнулась в нем.

– Ах, Зиночка, Зиночка! – медленно вздохнул он и, весь напрягаясь во внезапном приливе трогательной нежности и тоскливой ласки, подумал: «Милая „Маленькая молодость“, кто знает, где буду я, когда ты расцветешь?..»

Что-то теплое и мокрое выступило из-под его закрытых век. Лавренко стыдливо крикнул, открыл глаза, поправился на сиденье и снова стал смотреть на слепые окна домов, неясно мерещившихся во тьме.

Почему-то перед ним встала вся его собственная жизнь: больницы, сотни страдающих, отвратительно и гнусно, на все манеры, разлагающихся людей, тайная, стыдливая любовь к Зиночке, бильярд, жадные лица шулеров, стук шаров, горький вкус пива и кисловатый затхлый запах в его холодной квартире, с размокшими кучами пепла на окнах. Стало чего-то обидно, чего-то жаль до слез.

– Барин! – вдруг позвал извозчик с козел.

Лавренко медленно посмотрел на него, с трудом оторвавшись от своих мыслей.

С козел, через плечо, смотрело на него, смутно различаемое в темноте, унылое и понурое, мужицкое лицо.

– А, шо тебе? – вяло спросил Лавренко.

– Правда, говорят, завтра по городу палить с пушек будут?

– Должно, будут...

Извозчик помолчал, и казалось, что он ждет еще чего-то или к чему-то прислушивается.

На улицах были пустота и молчание, и только одиноко и чересчур громко гремели колеса пролетки.

– Н-ну, дела! – пробормотал извозчик, не оборачиваясь. Лавренко долго молча смотрел в его присадковатую, согнутую спину, зыбко маячившую перед глазами во мраке.

– Да, голубь, дела! – не то усмехнувшись, не то вздохнув, проговорил он. – А ты знаешь, из-за чего все это?

– А кто их знат! – неопределенно ответил извозчик, опять оборачиваясь. – Говорят, матросы да забастовщики народ мутят...

– Мутят? Эх, ты... – с иронией передразнил Лавренко.

– А, конечно, мутят... Жили бы тихо, а то на... Невесть чего захотели... Этак, к примеру, и я скажу: не желаю... да и все!..

Извозчик усмехнулся, и по голосу было слышно, что он усмехнулся презрительно и недоуменно.

– Лучшей жизни хотят, – возразил Лавренко, – и ты можешь хотеть... Разве ты сам своей жизнью доволен?

– Где же доволен... Жить нашему брату вовсе трудно... Теперь, возьмем, скажем...

– Ну, вот видишь, – перебил Лавренко, – трудно жить.

– Что ж, что трудно... Жизнь не малина, трудно-то трудно, а жить можно... что ж...

– Где же можно? – с сердитой грустью возразил Лавренко. – День и ночь на козлах сидишь... вон как тебя согнуло, а человек не старый... Кроме лошадиного хвоста, холода да

голода, ничего не видишь, всякий тобой помыкает, в бане, чай, побывать толком некогда, вши заели, а ты говоришь – жить можно!.. Разве это жизнь?

Извозчик, обернувшись, посмотрел на него с непонятным выражением какой-то растерянности и испуга.

– Оно, конечно, что жизнь, точно что... оно, если рассудить, так жизнь наша, барин, горькая жизнь, а только, что ж... тяжело не тяжело, а жить надо...

Они замолчали. Опять только дробно и одиноко постукивали колеса да скрипела калитка. Свернули в переулок, проехали мимо церкви, смутно белевшей за черными деревьями. Извозчик и доктор Лавренко думали каждый о своем, и было много безнадежного, унылого в этих двух согнутых, молчаливых, чуждых друг другу фигурах и тощей, разбитой лошаденке, терпеливо и кротко выбивавшейся из сил.

Уже у самого дома доктора Зарницкого извозчик вдруг вздохнул и тихо пробормотал:

– Приходится, барин, жить!.. Лавренко ничего не ответил.

У темного подъезда доктор тяжело слез с дрожек и расплатился. На мгновение они посмотрели друг другу в глаза. Лавренко что-то хотел сказать, но промолчал и пошел к подъезду. Извозчик тронул лошадь, и пролетка медленно поплелась вдоль тротуара, точно поползло одиноко в ночи какое-то искалеченное, унылое насекомое.

IV

На площадке был пустой и холодный мрак, и тоскливый, замирающий отзвук колокольчика где-то за запертой молчаливой дверью наводил жуткую тоску. Не отворяли долго, и все было тихо, как в могиле, и это сравнение пришло в голову Лавренко и из самой глубины его души подняло опять тоскливое и зловещее чувство. Мрак стал жутким, и начало чудиться, что со всех сторон в нем неслышимо подползает что-то бесформенное и ужасное.

Наконец, за дверью послышался шорох, и женский высокий голос спросил:

– Кто там?

Голос звучал как будто издалека, и в его напряженном звуке чувствовалась молодая женщина, боязливая и недоверчивая.

Лавренко поторопился ответить, нарочно придавая словам преувеличенно дружелюбное и успокоительное выражение. Тогда дверь медленно отворилась, и полоса света упала ему на лицо. Молоденькая, хорошенькая горничная застенчиво улыбнулась ему и, наивно-кокетливо прижимаясь к косяку, пропустила доктора в переднюю. На пороге в следующую комнату стоял черный силуэт самого Зарницкого и все еще тревожно, слегка вытянув шею, всматривался в темноту.

– Владимир Петрович, я к вам по делу, – заговорил Лав-

ренко, вступая в комнату и снимая пальто.

– Да, да... я уже знаю... – торопливо пробормотал Зарницкий, и по его чересчур красивому и здоровому лицу мгновенно мелькнуло что-то странное и даже как будто враждебное. И хотя он сейчас же отвернулся, но даже в его крупном, с короткими крутыми завитками черных волос, холемом затылке почувствовалось то же выражение. И с той спокойной, тонкой наблюдательностью, которую всегда отличался Лавренко, доктор заметил и понял это выражение.

Они прошли в кабинет Зарницкого, где от яркого света по лощеной коже тяжелой мебели, по золоченым корешкам книг и зеркальным стеклам шкафа с инструментами искрились тысячи холодных бликов.

Навстречу им поднялся высокий, как жердь, унылого вида студент.

– А, Сливин! – ласково-дружелюбным тоном негромко воскликнул Лавренко.

Студент улыбался ему, но и улыбка у него была какая-то длинная, вялая и унылая.

Лавренко сел у стола, сел и Сливин, острым углом поставив перед собой худые колени, а Зарницкий стал ходить по комнате, о чем-то озабоченно думая и тяжело ступая по ковру машинально размеренными шагами. Все долго молчали.

– Ну, вот, голубь мой, дождались мы и революции! – с задумчиво-ласковой иронией наконец проговорил Лавренко, взглянув на уныло сидевшего Сливина.

И точно это слово было тем ключом, которым открывалась душа у понурого студента, Сливин вдруг оживился. Его белобрысое, худое и длинное, совершенно некрасивое лицо чахоточного порозовело, глаза заблестели, и все лицо стало таким молодым и милым, что на него и жалко, и хорошо было смотреть.

– Это еще не революция, а только предтеча революции, доктор! – надтреснутым высоким басом ответил он, – но во всяком случае это такой удар, который двинет жизнь сразу на тысячу верст вперед!

– Да, конечно!.. – любуясь им, согласился Лавренко, хотя вовсе не потому, что был действительно с ним согласен.

Зарницкий остановился у камина, постоял немного, подумал и заложил руки в карманы, покачиваясь с носков на пятки и обратно, и небрежно-притворно, глядя в потолок, спросил:

– А как вы думаете, чем все это кончится?..

– Бойней, – коротко пожал плечом Лавренко и потер свои пухлые, как у булочника, пальцы, точно ему вдруг стало холодно.

Это было очень простое и короткое слово, и Лавренко произнес его как будто довольно спокойно, но оно кровавым призраком встало перед каждым из них и мгновенным тяжелым сжатием отметилось в сердцах. Зарницкий вдруг перестал качаться и странно поперхнулся. Сливин вновь осунулся и поник.

Но каждому из них казалось, что страшно только ему одному, а другим нет. И каждому стало неловко перед другими и стыдно перед самим собой.

«Как они могут так спокойно», – с наивным восхищением подумал Сливин и с горькой тоской почувствовал себя маленьким, ничтожным и трусливеньким до гадости. И, страдая до слез и убеждая себя, что он должен быть искренним и сказать то, что думает и чувствует, он пробормотал, заикаясь и бестолково двигая локтями и ногами:

– А в конце концов, все это ужасно!.. и... вообще...

– Что же тут ужасного? – неожиданно для самого себя, повинувшись безотчетному желанию замаскировать свой страх и тому стремлению поражать, которое всегда было в нем, вместе с тайной сознаваемой уверенностью, что он действительно лучше, смелее, решительнее, непреклоннее, умнее и определеннее всех, сказал Зарницкий. И мгновенно его самоуверенность вернулась к нему, и он успокоился.

– Борьба так борьба... Кому-нибудь надо умирать, и, право, по-моему, лучше умереть сразу и в борьбе за жизнь, чем от какой-нибудь болезни сгнить в постели. В сущности говоря, – продолжал он, оживляясь от удовольствия, что именно ему пришла в голову удачная мысль, – в сущности говоря, вопрос о жертвах был бы тогда ужасен, если бы люди вообще были вечными и только одни эти жертвы погибали... тогда... да... Но так как все люди в конце концов умирают, то не все ли равно, раньше или позже?... Это сантименталь-

ное сожаление о жертвах похоже на то, как если бы приговорили к смерти кучу народу... всех к посажению на кол, а двух-трех к расстрелянию... и если бы все посаженные на кол стали оплакивать не себя, а тех, которых расстреляют. И это при полной и неопровержимой уверенности в том, что сию секунду их самих непременно посадят на кол...

«Да, да... это совершенно верно... – с какою-то облегчающей радостью думал Сливин. Как это, в конце концов, просто и... вовсе не страшно... Ну, не все ли равно, в самом деле, убьют ли меня завтра или я умру потом от чахотки?.. Да, это решительно все равно».

И воспоминание о том, что у него чахотка, на этот раз было ему не мучительно, как всегда, а радостно, как будто этим снималась с него ужасная тяжесть.

– Хотя я... – все-таки нерешительно, перебивая сам себя под давлением какого-то странного чувства неловкости, оставшегося где-то очень глубоко, под легкими добрыми мыслями, протянул он, – тут ведь и... того, страдания ужасны... и неожиданность тоже... Хотя-я...

– О, милый мой юноша! – снисходительно и уже совсем самоуверенно засмеялся Зарницкий. – Хуже страданий, как от воспаления седалищного нерва или рака, никакой пулей не причинишь... А что касается неожиданности, то смерть всегда неожиданность... даже после соборования, – прибавил он и довольно засмеялся.

Сливин смотрел на него с завистью и изо всей силы ста-

рался впитать в себя эти мысли и проникнуться ими, чтобы так же легко и смело смотреть на жизнь и смерть. Сознание своей трусости и ничтожности давило его и терзало еще больше, чем страх.

– Все это так, голубь мой, – мягко отозвался Лавренко, глядя на ровное широкое сукно письменного стола, напоминающего ему бильярд, – все это та-ак, да... да дело-то в том, что вы признаете смерть от болезней уж как будто делом естественным, а это что ж... Смерть противна человеку вообще, отчего бы она ни приключилась... Тут главным образом ужасно не то, что будут жертвы, а то, что эти жертвы будут принесены самими людьми. Всем смерть ужасна, всем хочется жить вечно, люди борются за эликсир бессмертия тысячи веков, уничтожают болезни, создают гигиену, строят больницы, употребляют страшные и самоотверженные усилия в поисках микроорганизмов, вредных для человеческой жизни, а тут же, рядом с больницами и университетами, находятся идиоты, которые под прикрытием пустых и явно фальшивых лозунгов калечат, убивают, истязают ту самую жизнь, за которую борется так или иначе всякий человек, и они же сами... Вот это-то и ужасно, голубь мой!.. Ужас перед насильственной смертью – это ужас смерти вообще, но отягченный еще возмущением, болью омерзения и самого мучительного недоумения: да зачем же?.. да как же не понимать такой простой истины?..

Зарницкий, еще не дослушав до конца, подыскал ответ, и,

хотя, по дальнейшему ходу слов Лавренко, ответ этот уже не совсем годился, он возразил, слегка волнуясь:

– Вы говорите, смерть противна вообще... а террористы, а эти улыбки под виселицами?.. а крестная смерть Христа, например?.. А самоубийцы?..

– Я думаю, голубь мой! – раздумчиво ответил Лавренко, погружаясь назад в кресло всем своим толстым, пухлым телом. – Можно улыбаться и смерти, но только тогда, когда смерть есть акт своей собственной воли... Смерть террориста есть высшее проявление его собственного «я»... Человек, идущий на террор, ставит себе задачей мужественную гибель... А, например, смерть Христа была не столько смертью, сколько высшим моментом его творчества, венцом его жизни... Вообразите, как мог бы жить дальше Христос, если бы вместо того, чтобы умереть на кресте, он удрал бы! Он остался бы жить, т. е. тело бы его не умерло и прожило бы еще сколько-нибудь лет... Но себя, Христа, свою личность, он убил бы этим и обратил в гроб повапленный... Разумеется, в такие моменты у них жизненная сила достигает наивысшего напряжения, наиярчайшего проявления, и самый страх смерти совершенно ступшевывается перед восторгом победы над собой и другими...

– Другими? – машинально спросил Сливин.

– Конечно, голубь мой, и над другими: люди, которые приговаривают их к смертной казни, прежде всего имеют идею мести и устрашение, а потому смерть бесстрашная есть

именно доказательство несостоятельности этой идеи... победа.

Лавренко помолчал и вдруг, грустно засмеявшись, прибавил:

– Знаете, голубь мой, у человека есть одна только сила, которую никто и ничто не может победить... Все можно победить, можно убить жизнь, можно пресечь все... но есть одна сила, которая ничем не уничтожается и остается как яд, который ничем уже нельзя вытравить...

– Какая же?

– Ирония... И знаете, самым непобедимым человеком в мире мне представляется тот анекдотический турок, который, будучи посажен на кол, сказал: «Недурно для начала!..»

Сливин прыснул, но сразу умолк и задумался.

– А это, пожалуй, правда! – сказал он вдруг с недоумением и, даже слегка открыв рот, посмотрел на Лавренко.

Все задумались. Зарницкий медленно ходил по комнате, напирая на носки сапог и глядя под ноги; Сливин сгорбился и засунул руки между коленями, а Лавренко смотрел на стол и машинально рассчитывал удар чернильницей пепельницу направо в угол.

– Сливин, вы хотите ужинать? – спросил Зарницкий, посмотрев на часы.

Сливин задвигался во все стороны, беспомощно шевеля руками и подымая брови.

– Н-нет... Я, собственно, есть не хочу!.. Я уже ужинал!..

– Ну, ничего... выпьем водки и закусим, а?..

– Да нет, ей-богу, я не хочу... Хотя-я...

Он виновато улыбнулся и поднял плечи до самых ушей, слегка разведя руками. Зарницкий позвонил.

Молоденькая горничная, чистенькая и красивая, того особого, как будто только что вымытого с мылом, типа, который вырабатывается у горничных, живущих у очень здоровых холостых мужчин ради правильности и гигиеничности физиологических отправления, накрыла на стол, зажгла яркую лампу в столовой, и было как-то особенно приятно сесть за чистый, блестящий графинчиками, тарелочками и белоснежной скатертью стол.

– Ну, господа, – с грустной шуткой сказал Лавренко, наливая и подымая рюмочки, – может быть, в последний раз... За победу!

– За победу! – оживляясь, крикнул Сливин и так хлопнул рюмку в глотку, что у него выступили слезы.

Но он сейчас же вспомнил, что после высказанной им трусости и дряблости не очень-то кстати пить за победу, покраснел и уткнулся в тарелку. Все ели молча. Лавренко и Зарницкий совсем мало, и по лицу Зарницкого опять заходили мимолетные тени. Один Сливин, сам смущаясь своего всегдашнего волчьего аппетита, съел весь ужин и весь черный хлеб, какой был.

– Ну, – сказал Лавренко, уже уходя, – итак, до завтра... Плохо нам будет!

Зарницкий изменился в своем красивом холеном лице.

– Чего, собственно, вы боитесь? Ведь не посмеют же они стрелять по красному кресту?

Лавренко внимательно посмотрел ему в лицо, угадывая его мысли и чувствуя к этому здоровому, упитанному человеку презрительную враждебность.

– И по кресту будут стрелять. А главное, когда нас побьют, а побьют нас непременно, многих из нас... А впрочем, не знаю!

Он холодно пожал руку Зарницкому и вышел на темную лестницу. Сверху им светила горничная, перевесившись через перила, и, как всегда, Лавренко посмотрел на ее чистенькую пикантную фигурку, выпукло освещенную лампой. И ему стало жаль ее и противно.

На улицах была пустота и сероватый мрак, указывающий на близость рассвета.

Шаги их чересчур громко отдавались в этой пустоте, и Лавренко озабоченно сказал:

– Будет очень скверно, если нас заберет патруль еще до завтра!

«Тогда мы будем в безопасности!» – мелькнуло в голове у Сливина, но он тотчас же поймал себя на этой мысли и мучительно покраснел.

– Ах, Анатолий Филиппович, – с болезненным раскаянием выговорил он, – если бы вы знали, какой я трус!

– Я тоже трус, – ласково ответил Лавренко и махнул ру-

кой. – Не в том дело, голубь мой!..

– А не поиграть ли нам в последний раз на бильярде? Тут я знаю один извозчий трактирчик такой... – спросил вдруг Лавренко, и ему самому было стыдно, что он говорит о бильярде. Ему всегда было неловко приглашать играть, потому что казалось, будто он уже всем решительно надоел своим вечным бильярдом и что только из деликатности соглашались с ним играть.

– Поздно уже... – с искренним сожалением, что не может удовлетворить желания Лавренко, к которому чувствовал нежное уважение, ответил Сливин.

– Да!.. Поздно!.. – согласился Лавренко, с трудом разобрав на часах два с четвертью. – Ну, до свидания, голубь мой!.. Завтра, может быть, не увидимся?.. Вы где будете?..

– Я на заводе Костюковского. Прощайте, голубчик!..

Они крепко, хотя немного стеснясь, поцеловались, и оба почувствовали теплую, грустную нежность друг к другу.

– Ну, прощайте, голубь, не поминайте лихом, коли что!..

Высокая фигура Сливина, зыбко маяча во мраке, повернула за угол, и опять Лавренко остался один. Ему вдруг до боли захотелось, чтобы было куда-нибудь пойти, встретиться с дорогим человеком, который пожалел бы его и боялся бы за него. Он вздохнул и медленно пошел по тротуару, грузно шагая и постукивая тростью.

Он вспомнил Зарницкого и стал думать о нем:

«Ведь вот куча мускулов и мяса, вся жизнь его в том, что

эта здоровая, красивая куча мяса ест, пьет, спит и совокупляется с женщинами... Такая физиологическая жизнь продолжится и за гробом, и после смерти эта куча мяса не исчезнет без следа, а будет разлагаться, претворяться, потом опять есть, опыляться и так без конца... Казалось бы! А между тем он боится смерти, может быть, во сто раз больше, чем те, которые живут самой тонкой духовной жизнью, которой действительно конец за гробом... Да... Ну, так что же?»

Лавренко запутался, тоскливо махнул рукой и пошел дальше...

Не доходя до перекрестка, он вдруг остановился и прижался под воротами.

Показались из-за угла, перешли улицу и вновь скрылись за углом четыре черные одинаковые фигуры, и, когда проходили под слабым светом подворотного фонарика, один за другим, над ними тускло блеснули четыре штыка. В груди у Лавренко все сжалось и притаилось.

В гулком ночном мраке звонкие шаги вооруженных людей отчетливо проговорили о близости смерти и смолкли в безвестном отдалении.

V

Проводив гостей, Зарницкий вернулся в кабинет и опять стал ходить взад и вперед, заложив руки за спину и глядя на носки своих светло вычищенных сапог. Он был так же массивен, красив и изящен, как всегда, но какая-то неуловимая растерянность вдруг появилась на лице, в беспокойном выражении глаз и в чуть заметном дрожании пальцев.

Пока вокруг были другие люди, перед которыми для Зарницкого было невысказано не выказывать себя самым умным, самым храбрым, самым честным и самым твердым человеком, ему было легко не думать. Но когда он остался наедине с самим собою, словно какой-то флер спал с его души, и голо и коротко встал перед ним беспощадный настойчивый вопрос, которого он никогда не подозревал и который теперь вдруг оказался неотложным и неотвратимым.

Всю свою жизнь Зарницкий был непоколебимо убежден, что он самый красивый, самый блестящий и смелый человек в свете. То, что его любили женщины и с восторгом отдавались на забаву его холеному, сильному и здоровому телу, то, что он был ловким и действительно прекрасным хирургом, то, что он был революционером и шесть месяцев просидел в одиночке, откуда вышел таким непреклонно убежденным, каким и вошел, приучило его верить в себя и никогда не задавать вопроса, действительно ли он так прекрасен и силен.

Он всегда верил, что если будет революция, то он станет во главе ее. С его красноречием, храбростью и убежденностью он не может не выдвинуться в первые ряды и не стать, как ему рисовалось, членом конвента, народным трибуном, вождем. И мысль об этом опьяняла его романтическим восторгом, и даже смерть на гильотине казалась ему только последним мрачно красивым аккордом.

Еще когда он был студентом, ему как-то пришлось в обществе красивых, чуть не поголовно влюбленных в него девушек сказать:

– Лучше тридцать лет жить, да пить живую кровь, чем жить триста лет, да питаться мертвечиной.

И он сказал это с искренним убеждением и часто повторял потом все с таким же убеждением.

И вдруг оказалось, что мысль о том, что его могут завтра убить, леденит ему кровь, и совершенно определенно, ясно и неотвратимо он понял, что боится смерти и не пойдет на нее.

«Так, значит, – я трус?..» – мучительно краснея и как будто стараясь, чтобы мысль эту не слышал даже он сам, растерянно подумал Зарницкий.

«Да, трус!» – отвечало что-то в глубине его массивного красивого тела, сжавшегося безвольно и пугливо. И весь многолетний мираж красоты, смелости и обаяния вдруг слетел, и Зарницкому показалось, что он гол, слаб и растерян, как гаденький, подленький зверек, с которого содрали блестящую шкурку.

С беспощадной иронией, вдруг непонятно возникшей из неуловимых сплетений мысли, он вспомнил шуточный афоризм одного приятеля:

«Познай самого себя... и познав, не впадай в уныние».

Эта внезапная, противувольная и непонятная насмешка над самим собою была так мучительна, что у него потемнело в глазах, и весь кабинет с его внушительной строгой мебелью тихо поплыл кругом.

«Не надо думать об этом!.. – как будто прося кого-то жестокого и безжалостного, подумал Зарницкий. – Это так... нервы расходились... Надо лечь спать... а там посмотрим!»

Но вместо того он опять заходил по кабинету, и все движения его стали уже растерянными, короткими, порывистыми, и, чувствуя это, он начал невыносимо страдать. Можно было думать, можно было забыть или помнить, но завтрашний день, а с ним смерть придут, и нельзя будет не пережить их.

– Ах, если бы проснуться и увидеть, что все уже прошло... Будет же когда-нибудь все это прошлым...

Мысль о том, чтобы стряпаться, увернуться от опасности и что это очень легко и можно устроить так, что очень немногие, а быть может, и никто не догадается, уже была у него в мозгу, тонкая, как уж, юркая и трусливая, но он старался думать, что даже мысли об этой мысли у него нет, потому что у него ее не может быть.

«Не всех же убьют», – думал он словами, логически и яс-

но, и как бы то ни было, а отступления не может быть и будь что будет.

Но тут же за этими словами, как будто гораздо глубже их, неуловимая, бессловная мысль, как мышшь в мышеловке, быстро и все очевиднее и яснее для него описывала круги, отыскивая и изобретая все возможные способы обмана и увертки.

И окончательно уже видя, что все это так и есть и что он не пойдет завтра никуда, Зарницкий все-таки сам не знал, пойдет или не пойдет, и был уверен, что такой человек не может даже думать, чтобы не пойти. Было похоже на то, будто его мозг утратил связь и цельность, и каждая частица его думает свое. И путаница эта отдаленно напомнила о сумасшествии.

А в груди было простое чувство искреннего стыда и грусти о безвозвратно утраченной отныне вере в свою красоту и превосходство над всеми людьми.

Зарницкому захотелось плакать, просить у кого-то снисхождения и жаловаться, как будто его обижают незаслуженно, и бить себя головой о стену с презрением, плевками и пощечинами, как последнюю тварь. Он представил себе свою красивую фигуру с избитыми, заплеванными холеными щеками, и это даже доставило ему мучительное наслаждение.

Зарницкий остановился посреди кабинета и широко открытыми воспаленными глазами уставился на стену, ничего не видя перед собой.

«Но ведь разве можно будет жить после этого?» – с отча-

янием и ужасом спросил он себя.

«Нельзя!» – ответила первая мысль, и стало очевидно, что после этого никогда нельзя будет чувствовать себя таким красивым и счастливым, нельзя будет заглянуть в лицо тысячам людей.

«Можно будет уехать куда-нибудь подальше, где никто не знает!» – одновременно под этой мыслью проскользнула другая, и опять было очевидно и то, что нельзя уехать, и то, что он уедет, и что нельзя жить, и что все-таки он переживет.

Холодный пот выступил на лбу Зарницкого, и лицо его исказилось.

«Да, лучше не думать!.. – опять сказал он себе и, взяв лампу, пошел в темную спальню. Тысячи мыслей со всех сторон набежали на него, как тот мрак, который бежал за лампой, но, упрямо стиснув зубы и притворяясь, что всецело поглощен сниманием сапог и брюк, он каждую упрямо отражал и затемнял. – Я вовсе не думаю об этом, не думаю, вот и не думаю вовсе... Там будет видно! Может быть, это вовсе и не так страшно... и на самом деле я окажусь героем...»

Но как только лег и вытянулся под мягким одеялом на чистой и приятно свежей холодной простыне, сейчас же поймал себя на том, что раз он говорил себе, что не надо думать «об этом», то, следовательно, он думает об этом, и понял, что действительно думает.

Тоска охватила его, и, как всегда, он почувствовал, что если заняться своим телом, то будет легче. Тогда он насильно

встал с постели и в одном белье, большой, сильный и красивый, пошел в комнату к горничной Тани. В комнате у Тани светила лампадка и оттого было уютно и пахло чистотой и сном. Таня уже спала, и спящая не была похожа на горничную. Кружево сорочки, которую купил ей Зарницкий, обнажая круглое смуглое плечо, придавало ей вид пышный и сладострастный. Она проснулась, когда Зарницкий стал ложиться рядом на согретую ею постель, и, открыв темные острые глазки, улыбнулась ему как-то особенно, с почтением прислуги и уверенностью женщины в том, что она нужна и приятна. От нее раздражающе пахло на Зарницкого странным смешанным запахом чистого, пахнущего мылом белья, сонной женщины и чем-то похожим на мускус. Он вдруг почувствовал привычное неудержимое сладострастие своего переполненного жизненными соками тела, и, действительно, забывая все мысли и все мучения, стал целовать ее в мягкую, упругую и бархатистую грудь, одной рукой уже стягивая с ее ног и живота рубашку и вздрагивая от прикосновений своих холодных пальцев к неуловимо нежной, горячей, как огонь, коже ее молодого крепкого тела.

По обыкновению, как требовало его исключительно сильное сладострастное тело, он наслаждался долго, замучив покорную, обожающую его, как высшее существо, теплую, гибкую, молодую женщину, и, когда ушел к себе, все тело его сладко ныло от полного разнеживающего удовлетворения, и в руках, и в ногах, и в мозгу была томная, счастливая лень.

Он с наслаждением вытянулся на холодной постели, потянулся и медленно, лениво стал думать.

«В жизни останется еще много хорошего... что бы там ни было...»

Прежней неуловимой мучительной путаницы уже не чувствовалось. Мысль тянулась одна, прямая и спокойная. Вдруг все показалось очень просто и совсем не так ужасно. Только что насладившееся тело подсказало ему то, что нужно было для того, чтобы успокоить и свою душу.

«Что бы там ни было, а если бы меня убили, расстреляли, я уже не увидел бы никогда того, за что я погиб... Какое же мне дело тогда и до торжества революции, и... тому подобное. Я есть центр вселенной, для меня все существует только постольку, поскольку я сам существую, а с моей смертью все исчезает. Значит, я принес бы себя в жертву за мираж, которого для меня после смерти не будет... Это во-все не трусость, а просто логика... Боязнь других, стыда и тому подобное, вот что действительно трусость... Да, не хочу умирать ни для кого и ни за кого, не хочу и не умру... И те идиоты, которые умрут, будут только идиоты и не больше... Лавренко же говорит, что жизнь есть борьба существования со смертью, а благо жизни в осуществлении своей свободы... Ну, я не хочу умирать, значит, хочу жить, потому что мне этого хочется. Хочу быть свободным, бороться со смертью и мнением людей, и, значит, я прав...»

Он облегченно вздохнул и заложил руки под голову уста-

ло и спокойно.

На мгновение в нем шевельнулось что-то грустное: как будто из его жизни он сам изгонял что-то светлое, дорогое, во что он верил и верит и сейчас, несмотря ни на что.

«А ведь я убиваю часть своей... жизни... ведь я борюсь не со смертью, а с жизнью... той жизнью, которая всегда звала и зовет меня быть смелым, твердым, свободным от страха...»

Он торопливо перебил себя.

«Так все можно перевернуть... Это – мудрование, и больше ничего, а жизнь и есть жизнь, смерть и есть смерть...»

Вдруг какой-то звук родился в темноте и где-то далеко как будто прогремел глухой выстрел. Зарницкий быстро поднял голову.

Все было тихо, но что-то тревожное как будто стояло в воздухе. Зарницкий сидел на кровати и слушал, слыша только встревоженное биение своего сердца. Кругом стоял неподвижный глухой мрак.

Сначала было тихо, но потом где-то внизу на улице почувствовалась сдержанная безмолвная суэта. Тревога стала расти больше и больше. Зарницкий поспешно встал и, шагая нагретыми босыми ногами по холодному полу, подошел к окну. Он встал на стул, отворил форточку и высунул голову на улицу.

Сырой весенний ветер, дующий с моря, охватил его разгоряченную голову и грудь. Зубы забили дрожь, и по спине проползло что-то холодное и неприятное. Все было пусто и

тихо, и, чернея окнами, неподвижно стояли напротив темные, как будто вымершие дома.

«Послышалось, – подумал Зарницкий. – Еще простудишься!..»

Он затворил форточку, лег и долго не мог избавиться от неприятной ознобной дрожи. Потом заснул и спал до утра тяжелым и кошмарным сном, в котором все, что он думал и видел днем, сплеталось в болезненные, неуловимо быстрые видения, принимая необыкновенные, странные формы.

Утром он проснулся с тяжелой головой, скверным вкусом во рту и нервной тоской. Наступал день, которым надо было или, может быть, кончить свою жизнь, или, наверное, принять неизбежный унижительный позор, и он уже знал, что именно будет.

VI

Последний день многих человеческих жизней настал так же ясно, спокойно и прекрасно, как всегда. Высоко над городом и морем заголубел нежно-прозрачный небесный свод, и неподвижно, в мечтательно-радостном ожидании солнца, замерли далекие облака. Они розовели все ярче и ярче; все синее становилось небо, и поэтому чувствовалось неуклонное и торжественное приближение дня, с его блеском, теплом и светом.

Было еще очень рано, и многие из тех людей, которые должны были сегодня умереть, которые должны были убивать и которые должны были принять в свои души мрачное и безобразное зрелище смерти, еще спали. В городе было пусто, и в густой голубизне моря неподвижно застывшие белели и пестрели трубы и мачты судов. Только в порту, где прекратилась обычная бойко- и суетливо-шумная жизнь, невнятно и неопределенно уже рос смутный и зловещий гул. Но он был так ограничен и слаб в бесконечном просторе утра, что здесь, в окраинных переулках, где шел Сливин, уступал самым простым и ничтожным звукам.

Сливин шел быстро и уныло смотрел под ноги, глубоко засунув руки в карманы. Ему было холодно от бессонной ночи, вытянувшей из тела бодрость и теплоту. Костлявые длинные ноги, похожие на две кочерги в болтающихся штанах, шагали

непомерно широко, а худое студенческое пальто болталось между ними уныло, как от осеннего ветра. Торчащие лопатки горбились, позеленевший картуз лез на уши.

Впереди него, вдоль забора, кралась худая желтая кошка. Иногда она внезапно останавливалась и на что-то, ей одной видимое, заглядывала своими зелеными, странными глазами в щели и подвальные окна.

Сливину почему-то было грустно-умилительно смотреть на эту кошку и хотелось думать что-то трогательное и печальное так, чтобы в этом трогательном и печальном были и эта кошка, и небо, и утро, и сам Сливин. Хотелось потихоньку плакать, а когда кошка вдруг скрылась под забором, Сливин почувствовал себя одиноким, брошенным, как потерявшийся мальчик.

Иногда вдруг откуда-то, ничем не вызванная, являлась уверенность, что он все-таки переживет это время, и, когда настанет новое, смутное, в то же время ярко представляющееся, он будет еще счастливее именно оттого, что теперь переживает такую тоску.

«Ведь не всех же убивают! – думал Сливин, шагая все дальше и дальше. – И почему должны убить именно меня... Это глупо!.. и это трусость!.. малодушие, и больше ничего!..»

Какой-то дворник, шаркая по мостовой, поднял метлой целую тучу мелкой пыли прямо в нос Сливину.

И неожиданно Сливин поймал себя на тоненькой, неуловимо, как ящерица, скользящей по изгибам мозга мысли, что

пусть лучше всех убьют, только не его.

Он очнулся, похолодев от гадливого и безнадежного презрения к самому себе и стараясь, чтобы никто в мире не догадался об этой подлой мысли, не плюнул ему, Сливину, в глаза, как это надо было бы сделать, он принял суетливый деловой вид и, подавив то, что упорно ныло в груди, ускорил шаги и повернул в переулок, где жили Зек.

Перед подъездом стояла грузная телега ломовика, и дремала, отставив ногу и жуя отвислыми губами, огромная худая лошадь со страдальческими добрыми глазами. От дверей до телеги дорожкой желтела раздерганная солома и валялись рогожки с бечевками. Дворник и ломовой, дюжие и равнодушные ко всему люди, пыхтя, тащили из прихожей сундук, а сам старый Зек, торопливый и седенький старичок, похожий на старого воробья, красный и раздраженный, суетился возле них.

– Осторожней, осторожней! – кричал он и, увидев в дверях длинную оторопелую фигуру Сливина, сердито вскрикнул: – А!.. А мы вот бежим... На старости лет!.. Скажите, Виталий Федорович, что же это такое?..

И старый Зек, ершась, как сердитый воробей, наскაკивая и возмущаясь, стал говорить о том, что революционеры ни в грош не ставят чужой жизни, и что это подло.

– К чему же тогда возмущаться правительством?.. Я не черносотенец, я отлично все понимаю, но с какой стати страдать мирным жителям?.. Ну пусть они сами идут на смерть,

на виселицу, куда угодно, пусть они святые, но мы-то тут при чем?..

Сливин, сняв картуз и, неловко опустив руки, уныло торчал посреди чемоданов, рогож, соломы и перевернутой мебели и молчал. Он всегда мог говорить только с людьми, в которых был уверен, что они думают как раз в том же духе, как и он. Старый же Зек всегда был ему чужой, и Сливин, как мальчик, боялся его и терялся в его присутствии.

– Нам хочется жить не менее, чем вам, – недоуменно и злобно кипятился старый человек, – мы не виноваты, что одни люди плохо живут, а другие хорошо, и это всегда будет... И согласитесь сами, наконец, что из того, что одним плохо, вовсе не значит, что и те должны страдать, которым живется недурно и которым...

Седые волосы торчали ежиком, и маленькие старые глазки блестели тревожно и злобно, как у сердитого зверька, неожиданно выгнанного из норки.

Сливин все-таки уныло молчал. По его мнению, прямому и непоколебимому, старый Зек был неправ, отстал и совершенно не понимал жизни. Сливин знал и почему он именно неправ, но возражения как-то нерешительно путались у него на языке, быстро и ярко возникая в мозгу при каждом слове Зека и бесследно исчезая при попытке их высказать. И притом он всегда боялся сказать что-нибудь нетактичное и кого-нибудь обидеть.

– Видите ли... это не совсем так... – изо всей силы ста-

раясь выразиться безобиднее и деликатнее, заговорил он, – дело в том, что если одним плохо жить, то это потому, что в этом... именно потому, что другим чересчур хорошо и, конечно, доля вины есть и на них... хотя...

По обыкновению, он сам перебил себя, потому что почувствовал неудобство и бесполезность слов ввиду благосостояния и полной обеспеченности самого Зека. И ему было как-то неловко и чудно, что эта старая воробьиная жизнь так крепко и цепко держится за свое.

«Собственно, старик ведь, – подумал он. – На что ему?»

В дверях гостиной показалась Зиночка. Она была бледна, и глаза у нее были заплаканы и так обведены кругами, что она казалась худенькой. Но по тому, как равнодушно пропустила она мимо ушей восклицание отца, и по тому что у нее одной во всем доме не было заметно торопливости и растерянности, было видно, что в душе у нее нечто свое, другое.

Сливин перешагнул через чемодан и стул, ногою сбил с чемодана на пол свернутые гардины и подал Зиночке руку, не сразу решив, поднимать ли раньше гардины или прежде здороваться, и оттого теряясь до слез.

– Вы ко мне, Виталий Федорович? – с тревожно выжидательным выражением глаз спросила она, снизу заглядывая ему в лицо.

– Да... то есть, я думал предупредить вас, но вы уже знаете, а так у меня ничего особенного... хотя-я...

Глаза Зиночки потухли. Сливин понимал, чего ей нужно,

и страдал от деликатности и затаенной даже от самого себя грустной ревности.

«Не надо было приходиться...» – почему-то подумал он.

– Пойдемте в сад, мне нужно вам кое-что сказать... – позвала Зиночка и с той спокойной уверенностью, с какой она, чувствуя свою власть над ним, всегда обращалась со Сливиным, повернулась и пошла, не оглядываясь.

– Пойдите, Виталий Федорович... – остановил его Зек. – Как вы думаете?... поспеем мы выехать?... а?... Говорят, на поезд уже не попадешь?..

– Комитет обещал вывезти всех желающих... хотя-я... – уныло пожал плечами Сливин и боком пробрался за Зинойкой.

В саду все было покрыто росой, песок на дорожках был совсем сырой, а мокрые зеленые лавочки блестели, как новенькие. Небо уже совсем посветлело, и воробьи чирикали, как днем.

– Рано еще совсем... – несмело пробормотал Сливин, идя за Зинойкой и не спуская наивно восторженных глаз с ее стройной мягкой спины с двумя недлинными пушистыми косами и тихо колышавшимися на ходу круглыми, стройными и широкими бедрами.

Зиночка отвела его в самый конец сада, где деревья уже сменялись тонкими, еще голыми, как прутья, кустами ягод и высокий забор показывал из-за своих позеленевших досок только красные трубы пригородных фабрик и заводов. Тут

она решительно повернулась к Сливину и, просто и открыто глядя ему в глаза, сказала:

– Виталий Федорович, вы видели Кончаева?

Было короткое мгновение, когда Зиночка подумала о том, что она первый раз в жизни открыто выдает свою тайну, которой, как ей раньше казалось, никто в мире не может и не должен знать, так как иначе она умрет от стыда. Сливин хотел покраснеть и смутиться от неловкости положения. Но в следующее мгновение что-то полное, властное и спокойное, какое-то непоколебимое сознание своего права наполнило все тело Зиночки, и она еще более открыто и прямо взглянула Сливину в глаза. И это почувствовал и понял тоже всей душой и Сливин. Его голос прозвучал грустью, но был так же прост и открыт, как всегда, когда он ответил:

– Я видел его вчера и сегодня, вероятно, увижу...

– Скажите мне правду, Витя, – пристально и твердо глядя ему в глаза, спросила она, – опасно там, где он будет?

Сливин, как будто извиняясь, застенчиво пожал плечами.

– Сегодня везде будет опасно... Но главное дело заключается в порту, а их отряд будет, кажется, в фабричном районе. Там не так опасно... хотя... – он беспомощно развел руками, как будто всей душой хотел бы сделать ей приятное и уберечь Кончаева, но не мог и просил снисхождения. Он знал, что Кончаев будет в порту, но солгал и почему-то не почувствовал никакой неловкости, точно так и нужно было.

– Так... – сказала Зиночка и потупилась, машинально по-

щипывая кончики кос, перекинувшихся на грудь. И вдруг вся покраснела и застыдилась опять, как напроказившая девочка.

– Витя, вы передадите ему письмо?..

И Сливин весь покраснел, но трогательное и просительное доверие в ее светлых, увлажнившихся от стыда и просьбы глазах размягчило его сердце совсем, и какое-то грустное счастье охватило его душу.

– Давайте... я передам, непременно... – сказал он и отвернулся, посмотрев вверх на небо, чтобы скрыть теплые слезы, выступившие на ресницах.

И небо, и розовые облака расплылись в этих слезах.

Потом она скоро-скоро пошла назад, и маленькие каблучки ее светло-желтых туфель быстро и ровно печатали свои крошечные следы на сыром песке дорожки. Сливин понуро шел сзади и с чувством все того же чистого и грустного умиления смотрел на эти следы.

«Зиночка, Зиночка! – с тайным напряжением и бесконечной печалью думал он. – Я знаю, что я некрасив, глуп и гораздо хуже „того“... но мне так хочется жить, так я люблю тебя, так мне больно и горько знать, что ты, такая милая, чистая, такая святая своей красотой и молодостью, скоро будешь принадлежать другому, здоровому, веселому и смелому со всеми женщинами мужчине... Это так невероятно, а между тем так и будет. И никогда, даже когда я умру, ты не узнаешь, как я тебя любил...»

На одно мгновение, мучительное своей беспощадной краткостью, у Сливина скользнула мысль, какой ужас есть в том, что огромное, хорошее и чистое чувство человеческое, составляющее для этого человека все, исчезнет совершенно бесцельно и бессмысленно, никому во всей вселенной не известное, как будто его никогда и не было.

«Лучше пусть будет отказ, насмешка, недоумение, жалость, все что угодно, но надо высказать».

Но сейчас же мысль куце и бессильно свернулась в безнадежный вопрос: ну, что же из этого?

«Да и невозможно это... лучше умереть, чем сказать!» – сказал сам себе Сливин, и еще больше согнулась его длинная фигура, вытянулся нос и опустела душа. В доме все уже было убрано и, хотя мебель оставалась на местах, сразу как-то опустело и похолодело. И окна без гардин, и мебель в чехлах, и разнокалиберная посуда на столе, вместо всегдашней ровно и весело подобранной, говорили о тревоге и страхе в мире всегдашнего мирного уюта.

Маленькая старушка, с заплаканными недоумевающими глазами, встретила Сливина таким взглядом, как будто он мог чем-то помочь ей и все устроить иначе. Но, увидев его унылую фигуру и неуверенные медлительные движения, старушка только вздохнула и спросила:

– Виталий Федорович, вы с нами чайку напьетесь? Сливину как-то не приходило в голову, что чай можно пить и теперь, как всегда. Он удивился.

– Чай? Я, право!.. я, собственно, чаю не хочу... Хотя-я... Он нерешительно пожал плечами, покраснел и неловко сел, одной рукой беря стакан, а другой придвигая булки.

– Ах вы, «хотя-хотя»! – передразнила его Зиночка со слезами на глазах.

– Может, еще выпьете? – добродушно спросила старушка, когда Сливин, смущаясь и торопясь и оттого хлюпая, как теленок, допил стакан.

– Я... – начал было Сливин, но поймал насмешливый взгляд Зиночки и поперхнулся начатым возражением, смиренно принимаясь за новый стакан.

Со двора встрепанный и встревоженный еще больше торопливо прибежал старый Зек.

– Ну, господа, нечего тут... скорее, скорее!.. – суетясь, закричал он, быстро надевая пальто и не попадая в рукава. – Уже весь город двинулся... Говорят, скоро не будут пускать на вокзал... Какой тут чай, помилуйте! – с раздражением закричал он на Сливина.

– Да ему-то что!.. ведь он остается, – сердито отозвалась Зиночка, подвигая Сливину сливки.

– Да... – спохватился Зек и минуту постоял, растерявшись. Он совершенно забыл, что не все бегут из города, и сразу никак не мог ясно воспринять этого. У него мелькнула жалостливая и наставительная мысль что-то сказать Сливину, выяснить ему все безумство и риск пребывания в городе, сказать, что вот он, старик, и то боится за свою жизнь, а

у Сливина она вся еще впереди, но маленькая, воробьиная злость вдруг охватила его.

«Ну и дурак! – подумал он. – Сумасшествуют... мальчишки!.. Ну и пусть гибнут, им же хуже».

Он сердито махнул рукой и выбежал, старчески семеня ногами.

Сливин привстал, сконфуженно и удивленно посмотрел ему вслед, именно на эти семенящие ноги, и у него мелькнуло в голове с каким-то наивным сожалением:

«И чего ему... все равно уж далеко от смерти не убежит?»

Но он сейчас же смутился неделикатности своей мысли и заторопился.

– Я вас еще провожу... а то, может, там, на вокзале, что-нибудь...

– Непременно... – опять со слезами на глазах согласилась Зиночка.

VII

Было уже совсем утро, и поезд убегал от города по солнечным, сверкающим от росы лугам. Зиночка, заплаканная и ошеломленная, затолканная со всех сторон, совершенно сбита с толку той отчаянной борьбой, которую только что вело за места в поезде сбесившееся от страха человеческое стадо, стояла на площадке, притиснутая к самому ее краю спинами и узлами. В первое время почти все молчали, и странно было видеть эти сдавленные, потные кучи людей, с растерянными, округленными глазами, бешено влекомых в зеленых, синих и желтых тесных ящиках по нежно-зеленым свободным полям, радостно озаренным прозрачным утренним солнцем, как будто вздрагивающим от счастья в волнах легкого, чистого воздуха и весело убегаящим назад к оставленному городу.

Зиночка, не спуская глаз, смотрела на скрывающиеся за горизонтом пестрые крыши и трубы, главы церквей, блестящих, как звезды, и запыленные зеленоватые купола пригородных садов. Ей было и стыдно, и противно и в себе самой, и во всех окружающих, что они бегут оттуда.

«Какая гадость! – думала она. – Ведь там будут погибать не для себя, а за всех, за нас... для всех этих идиотов, которые, выпуча глаза, бегут куда попало... А те, милые, несчастные!..»

Ей ярко и широко, в картинных и величественных силуэтах, точно в громадной туманной панораме, представились эти люди, которые не побежали перед страшной смертью и там, на улицах, покрытых дымом и кровью, застроенных мрачными и прекрасными баррикадами, точно навороченными из земли, камня и железа руками гигантов, стоят и ждут смерти.

Все, кого она знала, мелькнули перед нею, и их бледные образы были и страдальчески, и прекрасны. Она вся вздрогнула и побледнела: ей нарисовалась какая-то груда камней, дым, огонь и треск выстрелов и бледная, мертвая, прекрасная голова, такая дорогая, единственная, что душа облилась кровью.

– Что я сделала?.. Как пустила, как оставила его одного? Страшно вздрогнуло и сжалось сердце, белый туман покрыл глаза, и вся она ослабела, как будто падая в пропасть.

– Не может быть, не может... Это слишком ужасно!..

И с ужасом, всею силою смятенной души отгоняя страшный образ, Зиночка перебросилась мыслью к Сливину, и ей стало и легче, и жальче, и не смертельная бледность ужаса, а грустные, почти материнские слезы показались на глазах.

«Бедный Сливин!.. – подумала она, грустно улыбаясь его длинному, такому смешному и такому милому образу. – Может быть, и его убьют?..»

И она вспомнила с болью, как необдуманно и легкомысленно стыдила его на вокзале, заметив его растерянность и

страх.

Бешеная суета бегущих, по большинству сытых, приличных и хорошо одетых людей, яркое утро, ряды отряда дружинников, прошедших мимо вокзала, когда они подъезжали, гул и шум, рев паровозов и красные флаги, которые показались далеко в конце большой улицы и долго торжественно и загадочно колыхались там над синеющей вдали толпой, – все это возбудило ее, наполнило ощущением грандиозности, торжественности и силы, и вид унылого, бледного Сливина раздражал ее.

– Стыдитесь, вы!.. Если бы я была женщиной, я бы не кисла, как вы!.. – блестя глазами и вся розовея от нахлынувшего подъема, говорила ему Зиночка.

– Я, право... – краснея до слез и нелепо разводя длинными руками, бормотал Сливин. – Если бы вы знали, Зиночка, какой я трус... Вот еще ничего не видно, может быть, еще ничего не будет, а у меня сердце все время дрожит... Проклятый трус!.. – вдруг прибавил он неожиданно с искаженным, покрытым пятнами лицом и стиснутыми зубами.

Он всегда был с Зиночкой так откровенен, как ни с кем другим, и именно ей сказать это было для него и невыносимо мучительно, и болезненно приятно.

«Видишь, от тебя я даже этого не скрываю», – как будто хотел он сказать...

– Эх, вы!.. – жестко отозвалась Зиночка.

Он весь осунулся и побледнел, и теперь ей было невыно-

симо жаль, что она его тогда так обидела...

«А его, может быть, убьют... – опять подумала она. – Именно его и должны убить... нелепый он какой-то, жалкий...»

И ей стало больно думать и о Сливине, и она стала стараться думать о тех людях, которые здесь, на поезде, осмотрела их и почувствовала ненависть и презрение.

– Зиночка, ты там не упадешь?.. – спрашивал через спины и головы других стиснутый в самом входе вагона старый Зек, поймав ее помутившийся взгляд и истолковав его так, как он сам чувствовал себя в эту минуту. Он был весь красный и потный, точно только что выскочивший из бани, но уже начинал успокаиваться и приходить в себя в радостной мысли, что и он, и жена, и дочь спасены.

Зиночка не ответила ему.

«Другая на моем месте осталась бы!» – с обидным и горьким укором за то, что не могла нанести этот удар отцу и матери и поехала-таки с ними, подумала она. И бессознательно прислушавшись к словам отца, почувствовала какое-то странное ожесточение: ей вдруг захотелось и в самом деле упасть, броситься прямо на рельсы, чтобы доказать всем этим дрожащим, как скоты, над жизнью людям, что не так уж драгоценна эта жизнь, что есть и такие, которые не пойдут из-за нее на трусость, унижение, на позорное бегство. Зиночка крепко стиснула зубы, так что на нежных округлых щеках выступили розовые скулы, и, наклонившись над пу-

стотой пролета между вагонами, взглянула вниз на рельсы, сплошной белой полосой струившиеся из-под вагона.

«Броситься!.. Вот возьму и брошусь», – мелькнуло у нее в голове.

Две мягкие пушистые косы через плечи свесились вниз, площадка колыхалась, точно ускользая из-под ног, но маленькие ручки крепко держались за холодную железную палку, и было страшно смотреть. Изогнувшись гибкой спиной и выпуклой грудью, она сделала движение, какое делает падающая кошка, и выпрямилась.

Мимо замелькала березовая роща, тихая и белая, как ряды чистых и юных невест, замерших в ожидании.

В разгоряченное лицо повеяло сырой прохладой и запахом мокрой травы и коры, а потом опять побежали назад луга и дороги, освещенные солнцем.

В нервно-дрожащей молодой груди запеклось бессильное, тоскливое раздражение.

А в вагоне уже стали успокаиваться и слышались голоса, еще возбужденные, но уже звучащие нотками удовольствия сознания избегнутой, но все-таки, как-никак, а испытанной опасности. Все устроились и разместились, и оказалось даже просторно, точно толпа растаяла. Старый Зек снял шляпу и вытирал потное, красное лицо. Он довольно улыбнулся Зиночке.

– Ну, теперь все слава Богу... Дома жалко, ну, да Бог с ним... Пока поживем на даче, а там видно будет...

– Почему вы думаете, папа, что непременно в «ваш» дом попадут? – сухо и зло спросила Зиночка, глядя в сторону.

Зек понял подчеркивание и обиделся. В нем вдруг возмутилось все его воробьиное право на свою жизнь.

«Эта молодежь теперь думает, что она только и живет честно, как следует, оттого, что лезет на рожон... Кого они хотят этим удивить? Все это и мы переживали... знаем... К чему этот фарс мальчишеский?..»

– Почему же это «ваш»? – вызывающе-сердито спросил он. – Это такой же мой дом, как и твой...

– А потому... – с внезапными слезами в голосе, не помня, что говорит, ответила Зиночка, – что это подло!.. бежать!.. гадость!..

Зек вспыхнул. Стоявшие на площадке толстый лохотный господин в серой шляпе и старый человек, похожий на замороженного долголетней работой рабочего, прислушались к разговору. Толстая старая купчиха, с глупым ужасом в заплывших глазах, уставилась на Зиночку.

– А по-моему, подлость и гадость подвергать жизнь других людей опасности из-за своих бессмысленных мечтаний! – краснея кирпичным цветом и раздраженно выталкивая крикливые слова, повысил голос Зек.

– Папа! – возмущенно, как будто ее ударили, вскрикнула Зиночка.

– И совершенно правильно, – как бы в сторону, не глядя на них, пробормотал господин в серой шляпе.

– Чего вы ломаетесь? – продолжал старый Зек, все более и более раздражаясь и чувствуя, что не может чего-то доказать, без чего все-таки в глубине души скверно. – И будьте вы искренни... к чему эти фразы?.. И вам жить хочется, и вы такие же люди, как и мы... Это все позы... Как же, герои!.. Кого вы этим удивить хотите?..

– Однако мы остаемся же!.. – горячо крикнула Зиночка. – Позы иногда кончаются смертью, а это уже не позы.

– Какие отчаянные!.. – с искренней жалостью охнула купчиха.

– Не все и умирают-с!.. – вдруг откровенно и, нагло повернувшись и зло усмехаясь, заметил господин в серой шляпе. – Ведь вот вы же не остаетесь!..

Зиночка покраснела и растерянно взглянула сначала на него, потом на отца.

– Я!..

Зек вспыхнул, но промолчал.

«Пусть, пусть... это ей уроком будет», – подумал он и обижаясь за дочь, и озлобленно довольный.

– Простите, ваша милость, конечно, оно так, что которые ломаются, – отозвался старый рабочий.

– Я там ничего не могу сделать... – пробормотала Зиночка умоляюще.

– Так нечего и громкие фразы говорить, – пробормотал Зек, уже жалея ее и раскаиваясь в своей жестокости.

– Простите, ваша милость, конечно, нечего! – опять ото-

звался рабочий. – Говорят, говорят, простите, по молодости... а расплачиваться, простите, приходится нам...

– Вам-то стыдно так говорить... – опять загораясь, возразила Зиночка. – За вас же больше всего и идут... вам же лучше хотят... И вам не бежать от товарищей надо, а быть там, с ними...

Рабочий снисходительно посмотрел на нее сверху.

– Нет, уж простите, ваша милость, на это мы не согласны. Мы, простите, прекрасно понимаем, что это для нас делается, но жизни своей, простите, каждому жаль... хоть барышне, хоть рабочему человеку...

– Да ведь... жизнь у вас тяжелая, вы... чем занимаетесь?

– Мы на цинковом заводе, простите, работаем.

– Вот видите, на цинковом! – наивно обрадовавшись повороту разговора, сказала Зиночка, доверчиво глядя в глаза рабочему. – Я слыхала, что там самые ужасные условия труда.

– Это, простите, ваша милость, верно... Мало кто и выживет... – вздохнул рабочий, и по его испитому желтому лицу скользнуло что-то грустное и задумчивое.

– Ну, вот видите... – заторопилась Зиночка. – Чего же вам жалеть?.. в крайнем случае, чем смерть хуже такой жизни?

– А вы, простите, ваша милость, об этом рассуждать не можете, – вдруг меняясь в лице и зло скашивая обиженные глаза с красными воспаленными веками, резко проговорил рабочий.

– Почему же? – растерявшись, спросила Зиночка.

– А потому... Вы, простите, разума еще не имеете... жить нам не менее вашего хочется... Вы, простите, ваша милость, по молодости лет не знаете, что говорите...

Голос у него был полон злобной и непонятной обиды. Толстый господин торжествующе засмеялся и оглянулся на Зиночку.

– Ну, ты, любезный, потише... – крикнул Зек.

Рабочий хмуро оглянулся на него, но промолчал и только пошевелил тонкими, иссохшими от цинка челюстями.

Зиночка, как побитая кошечка, украдкой пробралась к отцу и испуганно оглядывалась на рабочего. Купчихе стало жаль ее, она вся рассиропилась и, скрестив руки на пухлом животе, жалостливо пропела:

– Вы, барышня, не обижайтесь... Ну, что же, им, конечно, лучше известно, мы, бабы, глупые... не наше это дело...

– А ты зачем барышню обидел? – с внезапной укоризной сказала она рабочему и покачала головой. – Жалости в тебе нет.

– Я, простите, ваша милость, что ж... – совсем другим голосом, вдруг ласково взглядывая на Зиночку, сказал рабочий. – Мне только, простите, ваша милость, обидно показалось, что барышня нас, простых людей, словно и за людей не считает... Чай, мы, простите, тоже люди.

– Вы меня не поняли... – тихо пробормотала Зиночка.

– Может, и не понял... Мы, простите, ваша милость, люди

темные! – вздохнул рабочий и стал смотреть на поле.

Зиночка мало-помалу успокоилась и задумалась, тоже глядя на поле. Опять замелькали перед нею лица Кончаева, Сливина и доктора Лавренко. Массы народа, красные знамена понеслись перед ней, и опять стало расти что-то грандиозное, туманное, и мрачное, и прекрасное. И даже жертвы рисовались ей только в прекрасных образах, полных трагизма, но как-то и без смерти, и без страданий.

На даче она пошла в сад, от которого за зиму отвыкла, села на лавочку под кленом, где еще пахло прошлогодними сухими листьями, и этот запах грустно напоминал об осени, и до самого вечера сидела, глядя в темнеющее небо, сквозь тоненькие веточки клена, на первые звезды. Ей хотелось торженно стать перед кем-то на колени и отдать беззаветно и всецело всю свою молодую жизнь с красотой, ласками, волей и покорным телом.

VIII

Небо было синее-синее, и на нем отчетливо белели зали-тые весенним солнцем дома, крыши и башни города, пест-ревшего над зелеными скатами берегового парка и бульва-ров. Сверху из города было видно такое же синее море, и же-лезный броненосец далеко и одиноко блестел среди его си-невы. Все было полно великой радости солнца и дня, все бы-ло полно воздуха и яркого света, тени были голубые и про-зрачные, все краски яркие и чисты, и казалось, что кроме яр-ко-синего, розового и белого цветов нет ничего, и все осле-пительно красиво, ярко и свежо.

Но когда Кончаев оставил на бульваре отряд Лавренко с его красными крестами на белых повязках, носилками и кар-ретками и спустился вниз, все разом изменилось.

Внизу была черная, пыльная и потная толпа. Он сразу оку-нулся и утонул в ее сплошной крутящейся массе, палимой горячим солнцем и окутанной тяжелой горячей пылью. Од-ну секунду ему показалось, что движется все: и приземистые красные пакгаузы, и мачты судов, и телеграфные столбы, и люди. Ослепительно блестящая под солнцем мостовая исчез-ла, растаяла в черной возбужденной и многоголовой массе.

– Мать честная, народу что навалило! – пронзительно за-кричал над самым ухом Кончаева пронзительный молодой голос.

Вокруг стоял сплошной тяжкий топот и яркий пестрый гул человеческих голосов, в котором неслышно тонули пронзительные гудки паровозов, все еще ходивших где-то недалеко. Вблизи кричали отдельными голосами и видны были человеческие лица с разными выражениями, а дальше все сливалось, гудело, волнообразно поднимаясь и затихая, жутко и весело. Одно за другим десятки, сотни и тысячи красных запотелых лиц мелькали мимо Кончаева, кричали, смеялись, ругались и куда-то спешили, точно боясь опоздать на какое-то великое зрелище.

– Кончаев! Кончаев! – кричал кто-то, пробираясь к нему из толпы, и Кончаев увидел знакомого атлета – Эттингера, рыжего и тяжелого человека, с веселым и тупым лицом могучего зверя.

– Вы что тут делаете, Геркулес? – весело спросил Кончаев, сбивая шапку на затылок уже запотелого красного лица. – Ну и жарко... – сказал он, возбужденно оглядываясь по сторонам.

– Вы погодите, еще жарче будет, – беззаботно ответил атлет, проталкиваясь сквозь толпу.

Кончаев хотел что-то сказать, но сам не услышал своего голоса в нарастающем гомоне, свисте и крике. Атлет шел впереди, огромными выпуклыми плечами буравя толпу, а Кончаев, быстро и ловко изгибаясь, как молодой окунь в камышах, пробирался за ним. И в эту минуту было так легко и весело, что вспомнилось, как когда-то, еще когда он был маль-

чиком-гимназистом, в их городке носили икону, и весело торжественный крестный ход беззаботно увлекал его в своем возбужденном могучем движении.

Они повернули под столбами эспланады, где была короткая тень и пахло сыростью подвала, где звуки шагов и голов отдавались гулким, сплошным эхом, и вышли на набережную. Тут было тише, и толпа двигалась медленнее, было уже слышно, что где-то вблизи море, и влажный запах его свежо веял сквозь зной, запах толпы и сухую горячую пыль.

Здесь Кончаев и Эттингер остановились, перевели дух и стали слышать, что говорили люди вокруг. Тут были и молодые, и старые, и подростки, и мужчины, и женщины, но все это была рабочая, серая, пыльная масса. По отдельным словам, вырывающимся из общего шума, было слышно, что одни говорят, будто ночью перебили все высшее начальство, другие – что ночью пришел манифест и всему конец, третьи – что солдаты перешли на сторону народа и будет большое сражение, а броненосец будет стрелять по графскому дворцу, четвертые просто спрашивали и передавали какие-то мелкие слухи, но общий тон говорил внятно, широким и свободным языком о том, что в жизни всех этих людей что-то круто и резко изменилось, как будто спала огромная глухая тяжесть, и сразу засверкало солнце, задул с моря свободный ветер, и все заговорили и задвигались впервые.

Так была огромна толпа и так могуществен ее живой гул, что Кончаеву вдруг показалась совершенно невозможной

мысль о том, что кучка людей, с ружьями и офицерами, может врезаться в эту плотную необъятную массу, просверлить ее, разогнать и избить, не погибнув сама на первых же шагах, как гибнет тоненькая березовая роща под напором неудержимо несущейся с гор лавины.

Он хотел сказать об этом Эттингеру, но не сказал, а только улыбнулся ему, молчаливо говоря глазами и улыбкой:

– А что, каково?.. Сила-то какая!..

Кучка разного народу вдруг вынырнула из-за угла пакгауза и кинулась в толпу, чуть не сбив Кончаева с ног.

– Казаки, казаки!.. – испуганно закричали десятки пронзительных голосов.

Кончаев с неприятным толчком в сердце, инстинктивно сунув руку в карман за револьвером, быстро оглянулся и увидел солдат.

Они сидели высоко над толпой на одинаковых лошадях, чутко прядущих острыми ушами и косящихся на толпу большими черными глазами, в которых было непонятное внимательное выражение. Солдаты сидели неподвижно, в одинаковых уверенных позах, все в серых шинелях, плотно накрест прохваченных белыми ремнями. За спинами у них торчали тонкие дула ружей. Кончаев со странным любопытством заглянул им в лица, но, казалось, в них не было никакого выражения и никакой своей жизни, а вместо глаз были только узкие тупые щелочки, ничего не видящие перед собой. Приплюснутые толстые носы смотрели вверх толпы, и грубые,

рябоватые лица медленно, как у мертвых кукол, поворачивались из стороны в сторону.

С внезапным омерзением и острым, ярким гневом Кончаев обернулся к толпе.

– Стойте, товарищи!.. – крикнул он, заглушая все звуки молодым звонким голосом. – Не бойтесь, они не смеют нас тронуть...

– Известно, теперь шабаш!.. – крикнул кто-то с мрачным лицом, и Кончаев улыбнулся этому лицу, как другу.

Но люди или пугливо жались на месте, или бежали назад с выпученными бессмысленными глазами. Эттингер, широко расставив руки, задержал несколько человек.

– Чего вы бежите?.. черт! – кричал он озлобленно. Тогда стали останавливаться, конфузливо и робко оглядываясь на казаков.

«Какие же все жалкие, бледные лица...» – с глубоким стыдом подумал Кончаев и, крепко сжав зубы, бледный и сосредоточенный, пошел прямо на солдат. В эту секунду он вдруг отделился от всего мира и стал один.

«Вот оно!..» – глухо и напряженно повторяло что-то внутри него.

Но казаки вдруг тронули лошадей, заколыхались на седлах и, подымая пыль, звеня и поблескивая на солнце, рысью поскакали назад по набережной.

– Фью!.. го-го-го!.. – пронесся общий торжествующий крик, и все вновь ожило и зашумело.

– Экая дрянь!.. – вдруг сказал Эттингер, и его неумное, с низким морщинистым лбом лицо выразило презрение и гадливость. – Пойдемте дальше... Ну их к черту!..

Кончаев растерянно улыбался, дышал тяжело, и видно было, что он чего-то не понимает.

Потом они пошли дальше, быстро проталкиваясь в движущейся толпе и прислушиваясь к отдельным крикам, словам и немногоголосому пению, вспыхивающему то здесь, то там.

Качаясь, прошел совершенно пьяный матрос, тяжело и упрямо ругаясь матерными словами. В нем что-то поразило Кончаева, казалось, он уже где-то видел его, этого самого матроса, такого же пьяного и тяжело ругающегося, растерзанного, растрепанного. Мысль о том, что и в эти дни, как и всегда, люди остаются такими же, какими были, мелькнула у него в голове, но сам он был так напряжен, радостен и готов на все, что она не удержалась и растаяла во вновь нахлынувшем, молодом, радостно жутком чувстве возбуждения.

У пакгаузов стояли дружинники с красными повязками на руках, и их молодые лица были так же возбуждены и радостны, как у Кончаева. Они чувствовали себя теперь господами жизни и оттого старались и действительно были оживленными, добрыми, на все и для всех готовыми.

Около одного из амбаров несколько десятков людей, ныряя в темные его ворота, вновь появлялись на свет с деревянными ящиками на плечах и волокли их к набережной.

– Это что, товарищ? – спросил Кончаев у студента с красной повязкой.

– По приказанию комитета водку в море выбрасываем, – весело и точно сообщая огромную радость, сказал студент. – А то, знаете, перепьются... – дружелюбно, как будто советуясь с хорошим знакомым, прибавил он.

– Да, да!.. – отвечал Кончаев тоже радостно и дружелюбно.

Желтые тяжелые ящики с зелеными билетиками неуклюже переворачивали через каменный барьер сначала медленно, как будто нерешительно, потом быстро и быстро переворачивали в воздухе и стремглав бухали в зеленую колышашую массу воды. На мгновение поднимался белый, сверкающий на солнце столб пены, покрывая ящик белым узором, и он исчезал в зеленой взволнованной глубине. Это было красиво, и оттого еще радостнее становилось на душе.

Один из ящиков зацепился за уступ над водой и с треском расселся по швам. Посыпались и забулькали в пенное кружево хорошенькие белые бутылочки.

– Эх, эх... – с сожалением крикнул кто-то из толпы, инстинктивно порываясь к воде.

Но вся толпа оглушительно и весело закричала:

– Ура... ра...

И почувствовалось, точно все эти люди, оборванные, вечно пьяные, вдруг что-то сбросили с плеч и празднуют какую-то победу.

– Как все-таки свобода облагораживает, – счастливо заметил Кончаев, с торжеством оглядываясь на Эттингера.

Опять переворачивались и бухали в воду тяжелые ящики, но уже никто не охал, и даже небритый, в рваных опорках старик скалил свой беззубый обтянутый рот пьяницы.

Кончаев повернул на мол, и сразу стало свободнее и чище. Толпа тут была как бы другая. Кончаев оглянулся на город. Он высоко возвышался над красными крышами порта. Еще выше были синее небо и белые облака.

На конце мола открылось свободное, властно широкое море, все так же, по своему неведомому закону, неустанно и спокойно несущее на берег зеленые и голубые волны, вспененные свежим ветром. Далеко в море рождалась волна и, прозрачная, голубая, росла и росла, покрываясь чистой белой пеной. А на месте ее рождалась уже другая, и так, без конца и начала, бежали они под небом, гульливые и бесследные, как мечты о человеческом счастье.

Тут, на фоне этой широты и простора, стоял высокий помост и на нем, неподвижно и величаво, лежал труп человека в матросской, окровавленной на груди рубашке с босыми, желтыми, как воск, сухими ногами.

Десятки и сотни людей, внезапно принимавших одно общее, молчаливое и серьезное выражение, подходили к нему и смотрели в лицо, а мертвец неподвижно лежал на белом возвышении, и его желтый мертвый профиль сурово и загадочно смотрел в синее-синее небо, где плыли белые облака.

Многие, очевидно, не знали, в чем дело, но смотрели серьезно и вдумчиво, бессознательно чувствуя, что тут, возле этого безгласного трупa, сосредоточена, какая-то величаяя трагедия.

Кончаев долго и пристально смотрел в это мертвое, высушенное и скорбное лицо, и странные, смутные мысли тихо бродили в его голове. Казалось, что мертвец видит и слышит все, что делается вокруг него, и что не может быть, чтобы этот гул, эта многотысячная, живая и любопытная толпа, это синее небо и белые облака потеряли всякую связь с ним и он был бы сам по себе, один среди ликующего солнечного мира.

Как-то больно было даже думать это, и от такой мысли нарождалось какое-то смутное и тупое равнодушие. Казалось, все стихало вокруг, бледнели голоса, тускнели солнечные краски, и душа становилась одинокой и тревожной, как перед неразрешимой, трагической загадкой.

– Вот она – первая жертва! – сказал Эттингер у самого его уха. – Сколько их будет к вечеру?

«Это ужасно!» – подумал Кончаев.

«Что же делать», – твердо ответил он себе.

Синело небо, белели облака, и видное отсюда море голубело и подносило к самому молу голубовато-зеленые прозрачные волны. Далеко там, на синем просторе, точно предвещающее грозу облако в синем небе, неподвижно и загадочно темнел броненосец.

Толпа приходила и уходила, и все новые и новые лица

мелькали в глазах.

И вдруг кто-то дико и грубо закричал. Мгновенное злое и тревожное движение поднялось и улеглось. Кончаев оглянулся.

Шагах в десяти виднелся белый китель и красное солдатское лицо.

– Ишь ты, городовик! – удивился какой-то мастеровой с забеленным известкой лицом.

– Откуда принесло?

– Не попрятались, черти! – отозвался человек в синей порванной рубахе с узким злоеющим лбом.

Городовой смотрел сонно и сердито, и видно было, что он ничего не понимал. Его рыжие усы топорщились, и глаза пучились на толпу.

– Ты у меня смотри! – кричал он на кого-то, замахиваясь ножнами шашки.

Человек в синей рубахе выдвинулся из толпы и кошачьими мелкими шагами подошел к нему.

– Ты шапку-то сними... не видишь, покойник лежит... – тихо и внятно проговорил он.

И Кончаеву было видно, как странно и злое втянулась его черная голова в широкие синие плечи.

– А ты мне что за указ?.. Проходи!.. – злобно закричал городовой, шагая ему навстречу.

И сейчас же, точно прикованные, сзади выдвинулись за ним несколько человек. Городовой почувствовал их и огля-

нулся.

Холод прошел по всему телу Кончаева.

«Убьют!..» – красной молнией пронеслось у него в голове. И странное, невыносимо напряженное и в то же время неудержимо любопытное чувство охватило его: казалось совершенно невозможным, непереносимым, чтобы здесь, сейчас, под солнечным светом, в присутствии его, Кончаева, убили человека; казалось совершенно ненужным, несоответствующим и помрачающим до падения все великое дело дня; казалось, что если это произойдет, то с ним случится что-то невообразимо ужасное, не выдержит мозг... И в то же время хотелось, чтобы убили и чтобы все видеть, не пропустить ни одного мгновения, ни одной мелочи и никогда не забыть.

И в то мгновение, когда городской оглянулся, точно именно этого и нужно было, подкрадывавшийся, как кошка, человек в синей разорванной рубахе вдруг очертя голову кинулся на него и, впившись руками, дернул книзу, подпрыгнул, и оба рухнули на землю, подняв пыль.

И как будто откуда-то хлынула волна мутной, захлестнувшей злобы и бешенства, толпа подалась вперед, поднялась, точно передних выжали кверху, и безумно копошащейся кучей тел, рук, голов и воспалившихся бешеных глаз обрушилась вниз на городского и человека в синей рубахе.

– А, ты так... Бей!.. Хррр!.. По башке его!.. Нашего, нашего не тронь! А-ах ты!.. – послышались короткие и так неестественно и зловеще изменившиеся голоса, что холод ужаса и

омерзения наполнил душу Кончаева.

Он вдруг сразу как-то весь ослабел и как будто его за-тошнило странной мозговой тошнотой. Было одно короткое мгновение как бы отупелого беспамятства, а потом он вдруг увидел между переплетенными руками и ногами нечеловеческое кровавое лицо с кровавыми дырами вместо глаз и голый живот между синими штанами и белыми клочьями окровавленного, вздернутого на подбородок кителя. Это было одно мгновение, но то самое ужасное, что было в этом безглазом, кровавом лице и голом втянутом животе, как молния врезалось в глаза Кончаева; это было все еще очевидное выражение живого безумного ужаса и отчаянной, точно она еще могла чему-нибудь помочь, борьбы.

– В море его!.. кидай, черт!.. в воду!.. – рычало что-то вокруг Кончаева. И вдруг над толпой, над головами и вытянутыми руками, метнулись две ноги, и тяжелое тело, неуклюже шлепнувшись о каменный парапет, хряснуло разбитым черепом, перевернулось, ошлепнуло кровью камень и бухнулось вниз, как живое, взмахнув руками. Раздался тяжелый всплеск, белое кружево каскадом взметнулось над зеленоватыми волнами и с плеском и ропотом разбежалось кругами, беспокойно плескаясь о камни мола.

Прошло несколько минут. Волны уже успокоились, толпа торопливо и молча перемещалась у парапета, с тревожным любопытством заглядывая вниз. Прибывали новые толпы, и вновь рос веселый, жуткий и свободный гул, а Кончаев все

не мог опомниться, трясся всем телом и безумно водил глазами вокруг, тщетно стараясь овладеть собой. Эттингер был бледен и бледно улыбался, растерянно шевеля пальцами и оглядываясь на окружающие лица.

– Товарищи! – раздался от забытого мертвеца на помосте твердый и новый голос. Молодой человек, похожий на актера, с бритым и холодно-решительным лицом, заложив руки за спину и почему-то сняв шляпу и подняв воротник пальто, стоял на ящике в головах у мертвеца. Он стоял спокойно и твердо, как на трибуне, и голос его звучал уверенно. – Настал последний день борьбы, если вы хотите отныне жить не как скоты, быть людьми и гражданами, помните, что воля в ваших руках... Никто и никогда не может владеть человеческой жизнью, если сам человек не отдаст ее в рабство... Нет господ, есть только рабы! У нас два выбора: или смерть за свободу, за жизнь, или рабство, то есть та же смерть... Какая же из двух смертей лучше, товарищи?!

Он круто дернул подбородком кверху и сделал круглые вызывающие глаза. И как будто набежала какая-то волна, ужасающий гул почуявшего свободу зверя торжествующе и радостно потряс воздух. Все двигалось возбужденно и быстро, точно целые толпы стремительно бежали куда-то, налетая друг на друга и сшибаясь в бессмысленном водовороте, и посреди этого гула и движения тонкий, молчаливый профиль мертвеца отчетливо чеканился в синем небе, казалось навеки сохраняя выражение неуловимой таинственной иро-

нии.

Кончаев узнал оратора и махнул ему рукой.

Над трупом появился другой человек, и опять одиноко, отчетливо и понятно зазвучал человеческий голос среди бессловного стихийного рева, а человек с актерским холодным лицом спустился с помоста и подошел к Кончаеву, которого быстро отыскивали его холодные пронзительные глаза.

– Ну, мы едем?.. спросил его Кончаев.

– Да, тут будут говорить другие... – спокойно и как будто равнодушно, точно передавая обычную работу, сказал он. – В три часа назначен срок генерал-губернатору, и надо поговорить с Дрейером и Бутмановым... Едем!..

Он посмотрел на то место, где тысячи ног еще не успели затоптать в пыль грязные, кровавые пятна, и равнодушно отвернулся.

– Это ужасно! – показывая глазами, сказал Кончаев, и его красивое, молодое лицо судорожно передернулось.

Серые металлические глаза холодно смотрели ему в лицо.

– Что ж тут ужасного?.. Без жертв нельзя, к тому же эта жертва совершенно случайная.

Кончаев вдруг почувствовал к нему холодную ненависть.

– Вы так спокойно говорите об этом, что... какую же роль играет у вас у всех борьба за общее счастье?..

– То есть? – холодно спросил человек в пальто, слегка откидывая назад голову, как будто для того, чтобы лучше разглядеть Кончаева.

– То есть?.. – все больше и больше возбуждаясь и чувствуя невыносимую потребность во что-нибудь вылить то острое, кошмарное страдание, которое с физической дрожью и тошнотой все еще наполняло его тело, крикнул Кончаев. – Вы готовы даже и без крайней надобности убивать одних во имя счастья других... Тогда почему же не наоборот? – бледнея, добавил он тихо и невнятно, пугаясь своих слов.

– Дело пока не в общем счастье... – так же холодно ответил человек в пальто. – А в самой борьбе, воспитывающей человечество. Важно не существование человека вообще, а его индивидуальная ценность... Что такое этот городской? Здесь не место спорить! Вам надо ехать, я передаю вам приказание, товарищ... – с напоминающим выражением оборвал он. – Придите в себя! Нас ждут.

И вдруг Кончаеву стало мучительно стыдно за свое малодушие и стыдно того, что ему стыдно своего настоящего чувства. И это сложное ощущение дало ему возможность освободиться от кошмара и опомниться.

– Я знаю! – сердито и немножко по-мальчишески ответил он.

Уходя и проталкиваясь сквозь толпу, он еще раз оглянулся на то место, где только что убили человека, но там уже ничего не было, кроме пыли, попираемой сотнями человеческих ног.

IX

Пристань осталась позади, и между нею и белым катером, суетливо режущим белую пену зеленых волн, колыхалось море и становилось все шире и шире. И с каждым мгновением гул толпы становился все тише и тише и замирал вдали. Еще видно было движение, но уже не было ни лиц, ни людей, а одно пестрое, солнечное пятно набережной, города и зеленых бульваров.

Кончаев снял шапку и отер потный горячий лоб, в висках которого мучительно билась как будто сгустившаяся кровь. Он поднял глаза к небу и с удивлением, точно никак нельзя было ожидать этого, увидел синее далекое и свободное небо, такое же спокойное и прекрасно-задумчивое, как и всегда. В ушах еще стоял пестро-яркий гул, мелькали перед глазами возбужденные лица, и в то же время вокруг было уже совершенно тихо, и только радостно журчала прозрачная зеленая вода, облизывая белые борта катера, грело и светило солнце и синело небо. Город был уже далеко, и теперь видно было, как он мал и игрушечен посреди моря, неба и зеленеющей земли.

Броненосец вырастал из волн и, серый, загадочно неподвижный, как-то странно подавлял душу среди этого блеска, простора, света и непрерывного беззаботно-могучего волнения волн. Он все рос и рос и, наконец, заслонил небо по-

давливающим силуэтом, с непонятно стройным хаосом труб, мачт, башен, канатов и цепей.

Катер, пытая и, как маленькое сердитое живое существо расплескивая воду, пристал к могучему, точно железная стена, борту, и Кончаев взобрался по трапу за человеком в пальто, карабкавшимся вверх с ловкостью и решительностью обезьяны. Кучка матросов в белых рубахах, синие воротники которых бойко трепал ветер, смотрела на них сверху, и среди них Кончаев в первый раз увидел лицом к лицу человека, имя которого было на устах у всех и произносилось с жутким и любопытным восторгом.

Это был очень худой и некрасивый морской офицер, с ненормальными, немножко сумасшедшими глазами, сутуловатый и грустный. Почему-то при взгляде на него всем приходило в голову, что он совсем не о том думает и не то знает, что другие...

Эта странная мысль пришла в голову Кончаеву, и с этого момента его стал мучить бессознательный вопрос: что же именно он знает и о чем думает?

На палубе, чистой и просторной, умилявшей своей простотой и сложностью, все было, казалось, так же тихо и обыденно, как и всегда. И как-то не верилось, что это тот самый железный корабль, на котором плыли люди, возбужденные до крайних для человека пределов, на котором недавно одни люди, отбивая свою жизнь, отнимали ее у других, с дикими криками, стонами, выстрелами и страшным запахом крови

и пороха.

Человек в пальто, так точно, как там, в толпе сняв шляпу, заложив руки за спину и подняв воротник пальто, стоял в кучке белых с синим рубах и громко говорил:

– Весь город в наших руках, и если вы разгромите дворец, то солдатам ничего не останется, как или выйти из города, или сдаться.

Кончаев с детским любопытством всматривался в лица матросов, этих героев, которые, как ему казалось, должны были переживать нечто совершенно особенное, удивительное и прекрасное. Но глаз не мог остановиться ни на одном лице. Это все были обыкновенные солдатские лица. Один, молоденький, белоусый, стоя сзади всех, напряженно слушал и наивно, по-детски шмыгал носом.

Кончаев бессознательно посмотрел через борт. Далеко за синей широкой полосой волнующейся воды, по которой играли ветреные белые барашки, виднелись туманный город и зеленые берега. Внезапно возникшее сознание, что те люди, которые всегда считали себя недостижимыми, в настоящую минуту действительно в руках этих молчаливых и простых матросов, несмотря на огромное расстояние, на воду, на батареи, стоявшие вокруг дворца, наполнило душу Кончаева небывалым подъемом, сопряженным с восторженной любовью к этим матросам, броненосцу и самым пушкам, молча и как будто сознательно смотревшим на берег.

Ему вдруг показалось, что он что-то понял, чего нико-

гда раньше не понимал: что между этим шмыгающим носом мальчиком в белой рубашке, грозным броненосцем и судьбою человечества есть что-то общее – грустное, роковое и трогательное. Но что именно – в голове Кончаева не оформилось.

– Товарищ, идите сюда! – позвал его человек в пальто.

Кончаев очнулся. Они прошли по палубе, спустились по аккуратному, звеневшему сталью мостику и вошли в каюту. Человек в пальто был страшно бледен и возбужден, а те два, грустный офицер и высокий молодой и красивый матрос, тот самый, который поднял мятеж на броненосце, совершенно спокойны и молчаливы. С наивным любопытством восторженного мальчика Кончаев заглянул в его красивые глаза и ясно увидел и в них то же самое выражение, что у офицера: что они одни знают и думают.

Все стояли. Человек в пальто нервно дергал шей и шевелил губами, точно хотел и не мог высказаться.

– Я повторяю вам!.. – заговорил он. – Что вы впадаете в страшную ошибку... Если в бою не отнять у человека жизни, он ее сам отнимет у вас... Поймите, что тут гуманность совершенно неуместна... Война так война... Не мы вынудили на нее... Вам жалко человеческих жизней... Скажите пожалуйста!.. Что такое жизнь кучки вредных и жестоких людей в сравнении с тем...

– Что вы хотите?.. – перебил худой офицер, еще больше сутулясь и блестя ненормальными глазами. – Мы не можем

взять на себя смерть, быть может, сотен людей... Человек имеет право защищать свою жизнь вплоть до лишения ее другого, но нападать первый прав он не имеет... Иначе чем же мы отличаемся от тех, на кого идем?..

– Это верно!.. – прибавил высокий матрос громким и ясным голосом. – При первой попытке войск перейти в наступление мы снесем все, как пыль, но нас, когда мы погибнем, никто не упрекнет в бесполезной жестокости...

– Ну, так знайте... – жестко и холодно возразил человек в пальто, – что вы губите все дело, потому что те люди, о которых вы говорите, не понимают ничего, кроме страха, и каждую минуту нашего колебания, как звери, принимают только за трусость и пользуются ею для собственных целей... Когда они начнут нападать, это будет значить, что они уже почувствовали свою силу...

Он замолчал, глядя в сторону. Лицо офицера явственно побледнело. Но глаза сохранили то же знающее особенное выражение...

– Слушайте, – сказал он. – Неужели вы думаете, что у нас хоть на один миг есть уверенность в том, что мы победим? Такой уверенности все равно нет... Мы просто идем на смерть... И в этом только – вся наша сила... Что такое пушки, что такое разгром города?.. Войска стянутся со всех сторон, и мы погибнем без воды и пищи... Мы идем на смерть, и только жизнь покажет, нужна ли была наша смерть...

Неизъяснимый восторг охватывал Кончаева молодой и го-

рячей волной...

– И смертию смерть поправ!.. – туманно вспомнилось ему при последних словах этого грустного, обрекающего себя человека.

– Чем чище, тем самоотверженнее и безубийственнее будет наша смерть, тем сильнее будет удар, вы это понимаете?..

– Нет, я этого не понимаю, – холодно возразил человек в пальто. – Если бы я мог, я стер бы с лица земли до самой пыли все, что живет рабством!.. И, может быть, с моей стороны это была бы тоже жертва...

«Да, и это правда», – подумал Кончаев, и чистое чувство умиления, точно перед ним были не люди, а какие-то непонятные высшие существа, наполнило его душу...

– Каждый жертвует по-своему! – мягко глядя в лицо человеку в пальто, сказал офицер и протянул ему руку. – Не на нашей жизни кончится наше дело, а потому стоит ли говорить о том, так или иначе мы погибнем...

– Да... – вдруг с новым выражением, странным на его холодном бритом актерском лице, проговорил человек в пальто. – Но я должен был передать вам мнение комитета...

– Передайте комитету, – ответил офицер с непонятно могучим выражением своего тихого, слабого голоса, – что теперь, перед лицом смерти, мы повинемся только самим себе.

– Да!.. прощайте, товарищи!.. – грустно и тепло сказал человек в пальто.

Они пожали руки, прямо глядя в глаза друг другу, и так же попрощались с Кончаевым. На мгновение он почувствовал в своей руке слабые, тонкие пальцы офицера и сильную, твердую ладонь высокого матроса и видел их одинокие, что-то понявшие и знающие глаза.

И ему опять, но так же смутно, без слов показалось, что он понял, что именно они знают.

Катер быстро резал воду назад к городу, опять вокруг бежали встрепанные барашки, перескакивая с волны на волну, но теперь уменьшался и удалялся броненосец, а навстречу рос, пестрел и уже глухо шумел огромный город.

X

Тем временем положение мало изменилось. Запутанный узел массы человеческих жизней распутывался медленно и тяжело, и еще не видно было его конца.

По-прежнему гудела, волнами приливая и отливая, возбужденная толпа. Она наполняла улицы города и лавинами скатывалась вниз в порт, производя впечатление вскопанного муравейника, когда откуда-то мириадами лезут черные массы встревоженных муравьев, и нельзя усмотреть, откуда они ползут, и неожиданно много кажется их.

Все это было так непривычно, и так очевидно было, что жизнь вывернута из своего русла, что ожидание грандиозных событий становилось уверенностью. И всех, и каждого в отдельности из муравьев этого огромного человеческого муравейника радовала и пугала эта неизбежность. И всеобщее напряженное ожидание было направлено к броненосцу, который первый поднял восстание. Все сознавали, что на нем находятся люди, которые уже перешли грань, отделившую их от всего старого мира, все понимали, что броненосец не может вечно стоять в море, как призрак, и это давало уверенность, что решение, каково бы оно ни было, придет отсюда.

Отряд Лавренко расположился на бульваре в беседке, где обыкновенно по вечерам так весело играла музыка, и его белый с большим красным крестом флаг привлекал внима-

ние и пугал как напоминание о том, что кто-то, среди общего неведения своей судьбы, знает и предрешает страдания и смерть.

Лавренко замечал, какое невыгодное для дела впечатление производит его отряд, но только морщился и стеснялся смотреть на проходивших, испуганно и любопытно оглядывавших каретки, повязки на руках санитаров и носилки. Он боялся, что если выберет другое место, то войска легко могут отрезать его от порта, и порт останется без помощи.

Около полудня к нему, уныло сидевшему на приступке каретки, запыхавшись, прибежал молоденький, толстенький, как свежий огурчик, студент и взволнованным шепотком, оглядываясь по сторонам, сообщил, что нигде никак не могут найти доктора Зарницкого.

– На квартире нет, на сборный пункт не явился... Весь отряд сбит с толку... понимаете, доктор, скверно...

– Шо скверно? – угрюмо спросил Лавренко.

– Да, арестовали его, так было бы известно!.. – неловко пробормотал студент, странно кося в сторону.

– А может быть, и не было бы? – сердито возразил Лавренко.

Он сразу догадался, в чем дело, и ему вдруг стало невыносимо неловко, точно от трусости Зарницкого и на него самого падала какая-то грязная тень.

«Тоже... человек!..» – с презрением подумал он, отошел к краю площадки и сумрачно, ничего не видя, стал глядеть

в порт. Где-то внутри его шевелилось новое, еще не ясное, но тяжелое, угнетающее чувство.

Новые толпы встревоженных муравьев бежали из дальних углов муравейника, и все крыши домов, балконы и окна были унижены маленькими черными фигурками с круглыми муравьиными головками. Общее напряжение становилось все тревожнее, и уже со всех сторон стали быстро возникать и так же быстро потухать слухи о кровавых столкновениях и человеческих жертвах. Когда же пронесся слух, что против порта и того места, где стоял отряд Лавренко, поставлены пулеметы, а во дворах, против бульвара, спрятаны солдаты, невидимо, но ощутимо стала расти злоба. Лица стали зловеще изменяться, вместо бесшабашно блестящих глаз, разинутых в веселом крике ртов и возбужденных оживленных лиц стали показываться темные глаза, сжатые губы и налитые кровью лица. Временами гул затихал, и в воцарившемся коротком молчании слышалось что-то глухое, как будто отдаленные приближающиеся тяжкие шаги.

Все большая и большая тоска охватывала Лавренко, и все острее он чувствовал, что для него все кончено этим днем. А от этого предчувствия иногда как будто все заволакивалось черным флером, становилось безразлично окружающее и хотелось уйти, пока еще не поздно, куда-нибудь, где трава, цветы и солнце – и нет людей. Там бы, в зеленой тишине, лечь на землю, прижаться к ней усталым телом, смотреть на яркие цветы и далекое небо, плакать от грусти и счастья и

все жить и жить.

Но вместо того Лавренко оставался в центре толпы, на взрытом и истоптанном сотнями человеческих ног бульваре. И как муха, попавшая в паутину, то раздражается и отчаянно бьет крыльями, то затихает в тупой покорности, – так и Лавренко то говорил себе, что все это ужасно, не нужно ему, противно, жалко, что надо уйти куда глаза глядят, то тупел и уныло поглядывал на бегущие мимо разноликие человеческие волны.

Молоденькие студенты и барышни с белыми повязками на рукавах толпились вокруг него, и чувствовалось, что, несмотря на их искреннее, молодое возбуждение, им все-таки жутко и каждому хочется быть поближе к этому толстому пожилому человеку, который, должно быть, лучше их знает, что надо делать.

– Слушайте, доктор, а они не имеют права стрелять по красному кресту? – несколько раз спрашивала Лавренко маленькая мягкая курносенькая барышня, и в ее черных воробьиных глазках темнело наивное откровенное чувство страха.

«Точно может быть право стрелять по одним, а не стрелять по другим? Когда люди решили убивать вообще, не все ли равно им, кого убивать?» – сердито подумал Лавренко, но сказал мягко и успокоительно:

– Разумеется, нет!

Но вслед за тем в нем самом так возросла уверенность в

противоположном и так стало ему жаль эту цветущую, радостную, даже в страхе и растерянности, молодость, что он взял каретку и, поручив отряд старшему студенту, поехал в городскую думу, где собрались все выдающиеся общественные деятели города.

«Я им скажу, что нельзя же!» – мелькало у него в мозгу совершенно бессмысленно, как натревоженный мотив, и он сам не знал, кому и что именно он хочет сказать.

Когда каретка проезжала площадь, в конце ее Лавренко увидел знакомый графский дворец, величаво и спокойно возвышавшийся своими розоватыми колоннами и витыми решетками с золочеными гербами.

«А им и горюшка мало! – подумал он. – Довели людей!..»

И ему удивительно странно было в эту минуту думать, что есть люди, такие же, как и все, не с четырьмя руками, не с двумя головами, не с двумя жизнями, а совершенно такие же, как и все, но которым почему-то были выстроены особые жилища, которых пуще ока стерегут сотни вооруженных обалделых людей, которые даже среди всеобщего страдания, смятения и гибели живут своей особой, совершенно свободной, роскошной, красивой и приятной жизнью. «Ведь вот, – подумал Лавренко, – явная нелепость... Нелепость очевидная, как дважды два четыре, а ведь даже самому себе иногда приходится напоминать, что это действительно так, что эти люди, из-за которых мы страдаем и не можем улучшить свою жизнь, как могли бы совершенно таковы, как и я, и он,

и он!» – мысленно указывал Лавренко на промелькнувших в окне каретки тонкого худого подростка мастерового, с худым испитым лицом, и бородатого, грязного и неуклюжего, как мучной мешок, ломовика.

– Но как мы допустили до этого?.. Вековое сумасшествие, идиотизм!.. И поделом тогда, да, поделом... А они правы... Как бы то ни было, они устроили свою жизнь лучше нас... Пусть там насилием, жестокостью, обманом, а создали себе жизнь полную, свободную, удобную и приятную... А мы, с нашей заботой об очищении жизни от зла, от порока, болезни и подлости, вечно в положении загнанного зверя... или вьючного животного...

В большом зале думы было много народу, но в сравнении с улицей казалось тихо, чисто и осмысленно. Вокруг большого стола, покрытого темным зеленым сукном, усеянным листьями бумаги, карандашами и чернильницами, сидели и стояли люди, одетые однообразно и нарядно, как показалось Лавренко, после обмызганной, запыленной толпы, которую он только что оставил на улице.

Лавренко протискался к председателю, высокому, черному человеку, с длинной блестящей бородой, и шепнул ему на ухо взволнованно и несвязно:

– Николай Иванович, я должен сделать срочное заявление!.. Председатель наклонил к нему голову с гладко причесанным седеющим виском и тонким острым ухом и торопливо ответил:

– Подождите немного... Пусть Кобозеев закончит!.. Лавренко хотел возразить, но председатель уже отвернулся, и доктор, потирая руки от охватившего его вдруг нетерпения, отступил немного назад и стал слушать оратора. В эту минуту он испытывал странное и неприятное чувство, как человек, куда-то разбежавшийся и вдруг остановленный в самый момент прыжка.

Оратор был невысокий, энергичного вида брюнет, с большими усами, в пенсне. Он не стоял, а почему-то двигался на небольшом пространстве между двумя столами, и оттого на первый взгляд казалось, что ему тесно и он терзается этим. Говорил он громко, в конце каждой фразы коротко и сильно взмахивал сжатым кулаком, точно расшибая что-то в пух и прах.

Лавренко прислушался, почему-то обратив внимание не столько на оратора, сколько на сухонького седенького старичка, который, приставив ручку к уху, с детским интересом на глазах, старался не проронить ни одного слова.

– Я говорю, что мы можем сделать только одно, – разобрал он, – на улице умирают наши братья, наши дети, плоть от плоти и кость от кости нашей... К ним!.. С ними!.. Что тут рассуждать и спорить о форме, когда каждая минута дорога и секунда оплачивается человеческой жизнью!

Он говорил долго и совершенно правильно, но было очевидно, что ни он, сытый и слишком выхолненный человек, ни представительный председатель, ни седенький старичок фи-

зически не могут идти «к ним и с ними», и потому вся речь казалась произносимой только для эффекта самой речи.

«Ну, к чему это говорить...» – страдальчески морщась, подумал Лавренко.

Оратор на секунду помолчал, как бы прислушиваясь к отзвуку улетевшей красивой фразы, и, круто повернувшись в другую сторону, продолжал, все возвышая и возвышая голос.

– Если мы точно граждане, а не обыватели, мы должны, не теряя времени, выйти на улицу, к нашим детям и братьям, и вооруженной рукой дать отпор насилию... Иначе мы недостойны называться гражданами, и я еще раз... призываю вас бросить бесполезные споры и вместе идти... на улицу!..

Последние два слова он выкрикнул громко и отдельно и, круто взмахнув рукой над головой, с энергией опустил вниз кулак и так быстро сел, что показалось, будто он куда-то провалился.

Лавренко отер потное лицо и не стал смотреть в ту сторону, ему стало неловко. Но что-то с сухим треском разорвалось и вдруг просыпалось оглушительной дробью хлопков, на мгновение покрывших все звуки.

Лавренко опять вытер лоб платком. Было жарко, и под толчком висел синеватый нагретый туман, в котором дальние фигуры казались безличными синими силуэтами. Было очевидно, что здесь уже давно толпится много народу.

Высокий председатель встал и, с достоинством опершись

одной рукой на стол и слегка приподняв другую, ждал, пока утихнут аплодисменты. Когда последние хлопки разрозненно замерли в отдаленных углах, он поднял руку выше, призывая к вниманию, и громко проговорил:

– Доктор Лавренко, заведующий санитарным отрядом, желает сделать срочное заявление. Желает ли собрание выслушать?

– Просим, просим!.. – слабо раздалось несколько голосов, и все надвинулись на стол.

Председатель сделал Лавренко пригласительный жест, точно приглашая его спеть что-нибудь, и сел, приняв вид достойный и внимательный. Лавренко машинально выдвинулся вперед, опять отер платком лоб и, ничего не видя перед собой, кроме стены черных сюртуков, синеватого тумана и светлыми пятнами расплывающихся в нем разнообразных лиц, заговорил:

– Господа, как представителям всех руководящих слоев городского общества, я заявляю вам, что против моего отряда, на бульваре, поставлены пулеметы, и каждую минуту я жду, что нас расстреляют... Необходимо принять какие-нибудь меры...

Он замолчал, и ему показалось странным, что так мало было сказано тогда, как чувствовалось нечто огромное, ужасное. В словах это вышло совсем просто и не выражало того напряженного озлобления и тревоги, с которыми он ехал сюда. И казалось, что и все ожидали большего, потому

что еще несколько мгновений все лица молча смотрели на Лавренко.

Послышались негромкие голоса. Первым заговорил, почему-то недоброжелательно глядя на Лавренко, пожилой толстый человек с рыжей бородой и круглыми щеками.

– Что же тут можно сделать... Мне кажется, что если начнут стрелять, то не по одному лазарету... Его постигнет общая участь, и я не нахожу, чтобы этот вопрос можно было выделить из общего... Это значит раздробиться на мелочи...

– То есть, позвольте, какие же мелочи? – вскрикнул Лавренко, мгновенно озлобляясь.

Поднялся высокий худой человек с честными большими глазами и прямыми волосами, о котором, не зная его, можно было сказать, что это литератор, и негромким, но чрезвычайно убедительным голосом стал возражать толстому господину. Говоря, он смотрел ему прямо в лицо, и выражение глаз его было правдиво и твердо, но Лавренко почему-то показалось, что литератор из деликатности старается вывести его, Лавренко, из неловкого положения.

Он говорил так хорошо и убедительно, а главное, было столько искренности в его глазах, что все, даже те, которые раньше были против выделения вопроса о санитарях из общего обращения к графу, не могли не согласиться.

Но толстому господину было трудно отказаться от своих слов. Сначала он, видимо, хотел с достоинством промолчать, но в самую последнюю минуту нашел удачное возражение и

поспешно заговорил.

– Граф совершенно резонно может заметить нам, что когда лес рубят – щепки летят и что он не может же не стрелять по порту оттого, что на пути мы, вместо баррикад, расположим свои перевязочные пункты... Это наивно, господа...

Некоторые слегка засмеялись.

Скулы литератора чуть-чуть покраснели. В глазах загорелся огонек задетого самолюбия, и он опять возразил. Но смешок был пущен вовремя, и стало очевидно, что теперь уже что-то утеряно и литератору ничего не удастся доказать. Между его словами и пониманием слушавших возникло нечто совершенно пустое, но непроницаемое.

Спор разгорался. По вопросу высказалось еще несколько ораторов, и он был решен в отрицательном смысле.

Все время Лавренко по-прежнему испытывал глупое и неловкое положение человека, который куда-то изо всех сил разбежался и не прыгнул. Ему становилось скверно, жарко, потно и под ложечкой засосало. Он вспомнил, что не ел целый день, и вдруг, совершенно нелепо, у него выскочила, лукавая перед самым собою, мысль, что он имеет право заехать в ресторан перекусить, а пока подадут, сыграть партию на бильярде.

– Не то что сыграть, а... – попробовал он извернуться, но ничего не вышло, и раздражение стало овладевать им.

Все в нем кипело, и каждое новое слово, каждый новый оратор вызывал новый и новый прилив тоскующего бешен-

ства.

Вопрос уже шел опять о том, в какой форме должно состояться обращение к графу. И здесь Лавренко невольно заняла и поразила неуловимая спутанность чувств и слов.

Одни предлагали послать депутацию словесную, другие – с письменным заявлением, третьи – просто поговорить по телефону.

– С этими скотами церемониться нечего... – вскидывая руками и презрительно кипятясь, говорил рыженький тоненький и, очевидно, высохший за письменным столом господин. – Этим мы покажем свое отношение к ним!..

Он говорил так презрительно и злостно, так возбужденно поправлял свое пенсне, что многим, должно быть, действительно показалось возможным и заманчивым выразить свое презрение зазнавшимся жестоким и ограниченным зверям.

– Позвольте, да граф просто не станет говорить с нами по телефону, – порывисто вскочил какой-то желчный, толстый человек в сверкающих очках.

И это было так очевидно, что непоколебимое сознание неодолимой силы и власти за «теми» как бы воочию встало перед слушателями. Кое-кто опять засмеялся, как будто эти люди были даже довольны сознанием своего бессилия.

– То есть, как это не станет говорить?.. – вскидывая руками и весь краснея, вскрикнул высохший рыженький господин. – Он обязан считаться с мнением общества, как бы оно ни было выражено. Что-нибудь одно, или общество, или мы

– стадо, которому довольно только кнута... Я не могу с этим согласиться!..

И как раньше казалось, что предложение его было сделано только ради хлесткого желания выказать себя смелым и твердым, так теперь стало казаться, что он искренно страдает о бессилии и унижении общества. Но все-таки слышались и прежние хлесткие нотки, и нельзя было ничего понять в его душе.

– Вы можете соглашаться или не соглашаться, а граф все-таки слушать вас не станет-с, только и всего!

– Мы заставим! – запальчиво крикнул, вскинув руками выше головы, рыженький господин.

– Как-с? – язвительно спросил господин в очках, захлебываясь от удовольствия. – Баррикады пойдем строить, вы, я, вот Иван Иванович! – показал он на седенького старичка, с детским интересом переводившего глаза с одного на другого.

Все невольно взглянули на этого старичка и ясно увидели, что говорит выражение его личика.

– Я не знаю, но это интересно... Я, право, с величайшим интересом все слушаю... С величайшим интересом! – говорило это розовое, старчески наивное личико.

И всем стало неловко и очевидно, как нелепа даже самая отдаленная мысль о возможности появления на баррикадах этого старичка и всех бывших в зале. Никто уже не помнил, что хлопали оратору именно за такое предложение.

И тот самый оратор, точно коснулись больного места,

вдруг порывисто вскочил и закричал, взмахивая кулаком:

– Это не так смешно, как вам кажется!.. И если мы действительно так бессильны, беспомощны, что не можем умереть с нашими братьями, так самое лучшее, что мы можем сделать, это – разойтись!..

Это было очевидно и оттого испугало всех. За этим словом оказывалась уже пустота, которую нечем было наполнить. И оттого снова стали возражать...

«Зачем я сюда пришел? – с бесконечным негодованием мысленно вскрикнул Лавренко. – Разве это люди?.. Что это такое?..»

Он недоуменно оглянул зал, где еще больше навис человеческий туман и дальние силуэты окончательно расплылись в синеватой мгле. Вокруг также чернела непроницаемая черная стена сюртуков и расплывчатых пятен человеческих лиц. Лавренко стало невыносимо душно от злобы и духоты, от страшной потребности крикнуть, хватить чем попало от одного края зала до другого и, наконец, и от физической усталости. Все тело его неприятно ныло.

Он отошел от стола, чувствуя, что если не выскажется, не сделает того, что требует его возмущение, то будет так же презирать и самого себя.

Но почему-то высказаться было невозможно, и раскрытый для громовых слов рот не давал звуков, точно в него вместо языка запихали мякину.

Лавренко, весь потный, с инстинктивным отчаянием

оглянулся вокруг.

– Послушайте, голубь мой! – сердито заговорил он, схватив за пуговицу знакомого ему инженера, высокого, с красивой, как у председателя, бородой человека, у которого был такой вид, точно все, что делалось, было сделано только для того, чтобы он и другие, такие же, как он, суетились и все устраивали и улаживали.

– А, это вы, доктор?.. Чего вам?.. Простите, я спешу!.. – торопливо пробормотал инженер, мельком пожимая руку Лавренко.

– Это невозможно, я говорю, что против красного креста пулеметы ставят... А тут!.. Вы же граждане города... у вас значение... надо же что-нибудь предпринять, – обидчиво и сердито говорил Лавренко, чувствуя, что делает и говорит что-то, в сущности, совершенно не нужное и не то, что хотел.

– Ну да, конечно!.. – закивал головой инженер, поправляя пенсне. – Но вы и сами можете присоединиться к депутатии? Выделять вопрос в самом деле нельзя!.. Вы понимаете?..

– Но к чему же эти?.. словопрения... – со злобой возразил Лавренко.

– Надо же сговориться!.. Так нельзя!..

Лавренко вдруг охватила такая злость, что он громко вскрикнул:

– Да что это такое?..

Но в поднявшемся шуме и аплодисментах голос его бес- сильно заглох.

XI

Когда собственные экипажи, блестящие и аккуратные, наполненные пожилыми, чистыми и важными на вид людьми, катились по улицам, все, и обтрепанные мастеровые, и матросы, и кучки дружинников с красными повязками, вся огромная масса людей, которая здесь, далеко от порта, была тише и больше в ней было растерянности и недоумения, смотрела им вслед серьезно и внимательно.

– Депутаты, депутаты! – слышались голоса, и в них было определенное выражение неопределенной надежды.

Казалось, что если такие важные, всеми уважаемые, солидные люди, из которых почти каждый был каким-нибудь начальником большего или меньшего числа людей, взялись за дело, то оно должно принять новый, нужный оборот, после которого минуют тяжелая тревога и растерянность.

И даже самому Лавренко стало легче и веселей.

«Должны же там понять», – успокоительно думал он и старался не замечать кроющегося где-то глубоко в душе недоумения, – что именно понять? И что делать, если не поймут, – а не поймут наверное!

У дворца, который вблизи показался Лавренко еще больше и значительнее, стояли пушки и ряды солдат, среди которых виднелись кучки блестящих своими серыми шинелями офицеров. Они и солдаты смотрели на вылезавших солид-

ных людей, в пальто и цилиндрах, с ожиданием, без вражды.

Когда они поднимались по ковру широкой красивой лестницы, Лавренко, оглядываясь вокруг, еще раз подумал:

«Вот жизнь... Настанет ли когда-нибудь время, когда людям не придется завидовать этим лестницам, цветам и коврам, потому что это будет общая радость жизни?..»

Но ему почему-то стало неловко, точно он подумал что-то наивное, избитое и даже пошлое.

Странно было только смотреть на стоявших повсюду солдат, одетых как на дворе, в шинелях, с ружьями и патронными сумками, и оттого даже казалось иногда, что этот дворец не дворец, а чья-то тюрьма.

Депутацию приняли с преувеличенной вежливостью. Жандармские офицеры, в голубых мундирах, с аксельбантами, любезно склонялись им навстречу и говорили мягко и предупредительно, соглашаясь и кивая головами.

Но Лавренко стало неловко, показалось ему, что офицеры любезны не с ними самими, а с чем-то посторонним, может быть, даже с их сюртуками, но только не с живыми людьми, приехавшими говорить о своей и чужой жизни. Кланяясь и соглашаясь, они смотрели в глаза холодно, и в этих холодных взглядах чувствовалось сознание силы механической, жестокой и неодолимой.

Депутатам долго пришлось ждать посреди огромной залы, как-то одиноко и неловко маленькой кучкой черных сюртуков столпившись на блестящем паркете. Было обидно

ждать, встревоженно билось сердце, и хотелось чего-нибудь, но только поскорее.

И когда уже становилось совершенно глупо стоять и ждать посреди залы, вышел генерал-губернатор, тот самый человек, от которого, как казалось, зависела жизнь многих людей.

Это была огромная туша красного мяса, выпирающего из генеральского мундира, лезущего на толстый, важный живот. У него было огромное, пухлое лицо, седое и лысое, с маленькими серыми пронзительными, как у самого свирепого и хитрого зверя, глазками.

Он вышел из дверей тяжелыми и грузными шагами, в самой грузности сохраняя бодрую, военную выправку, и остановился в нескольких шагах от депутатов. И вдруг в том, как он остановился, сквозь внешнее величие и грозность мелькнуло что-то быстрое и робкое, затаенный в самых тайниках души, никому не высказываемый, старчески дряблый, животный страх.

Маленькие глазки зверя быстро обежали кучку пожилых, солидных и мирных фигур в черных сюртуках и дольше других остановились на Лавренко. Его пухлая, небрежно и просторно одетая, с задумчиво напряженным лицом фигура, очевидно, что-то напомнила генералу и как будто внушила ему смутные опасения. Он сделал маленький шаг назад, как будто для того, чтобы лучше окинуть глазами всех депутатов.

– Здравствуйте, господа! – взявшись одной рукой за борт лезущего на живот мундира, заговорил он громким и хрипло звучным голосом, каким привык командовать массами людей, лошадей, пушек и обозов. – Чем могу служить?

Он не поклонился, но сделал вид, что поклонился, и эта неуловимая тонкая игра привычного величия, лукавства и самоуверенности поразила Лавренко.

«Удивительная выдержка! – подумал он, на мгновение забывая даже, зачем они тут. – Сколько нужно было школить и дрессировать человека, чтобы научить его жить не своею жизнью, двигать не своей стариковской грузной и жирной фигурой, а чем-то другим, что надето сверху, как маска...»

Сухонький, маленький и седенький старичок, в длинном черном сюртуке, который почему-то напоминал о том, что уже скоро, в этом самом сюртуке, чинно и навеки недвижимо, скрестив костяные тонкие пальцы, старичок будет лежать на столе, выступил вперед и полупоклонился, видимо изо всех сил стараясь не терять такого же достоинства, как у генерала, но волнуясь и робея и сам возмущаясь этим.

И вместе с ним начал волноваться и Лавренко; ему стало до боли обидно, что огромная по своему значению для людей, полная ума, таланта и труда ученая жизнь этого старичка тут, в дворцовой зале, ровно ничего не значит. И опять он подумал, что все, во что он привык верить, – вздор, а настоящая, сильная и не рабская жизнь только у этого сановника и ему подобных.

– Ваше высокопревосходительство, – заговорил старичок негромким, сухоньким костяным говорком, – мы, представители университета, города и различных союзов и обществ, ввиду событий, разразившихся в нашем городе, сочли своим прямым гражданским долгом обратиться к вашему пре... высокопревосходительству...

Генерал чуть-чуть наклонил голову, и его толстая, красная, мягкая шея студенисто навалилась на твердый красный воротник. Звериные глазки были внимательно непроницаемы, и за их холодно-серой стекловидной поверхностью ясно показался кто-то юркий, серый и хитрый, говоривший без слов:

«Я вас знаю... Меня не проведете... Я наперед знаю все, что вы мне скажете и что я отвечу. И то, что я отвечу, будет самое главное, хотя бы то, что вы мне скажете, и было бы справедливо».

И под этим неодолимым взглядом сухонький старичок, знаменитый ученый, видимо, терялся.

– ...Мы надеемся, что вы, ваше высокопревосходительство, примете все зависящие от вас меры, чтобы избежать ненужного и жестокого кровопролития...

Старик замолчал и вдруг побледнел, а костлявые пальцы его заметно задрожали. Генерал, все так же склонив набок огромную седую и лысую, как колено, голову, еще послушал мгновение, точно ожидая, не скажут ли ему еще чего-нибудь, и вдруг, быстро подняв голову, остро сверкнул глазками и

побагровел.

– Я должен вас предупредить, господа, что в силу законной власти и сознания огромного долга и ответственности перед родиной и Государем моим, лежащей на мне, я не могу, даже если бы захотел, остановиться перед крайними мерами при подавлении преступных замыслов, угрожающих спокойствию и даже целостности государства.

– Ваше... – начал было высокий, плотный и красивый господин, слегка поднимая удивительно холеную руку с перстнями.

– Прошу дать мне кончить! – негромко бросил генерал с непоколебимой уверенностью в том, что это так и будет, и продолжал громко и звучно: – Все, что от меня зависело, я уже сделал. Мятежники упорствуют в безумных замыслах, и все, что я могу вам посоветовать, это употребить все ваше немалое влияние на то, чтобы заставить их сдаться... и немедленно...

– Мы этого сделать не можем! – вдруг сказал Лавренко, сам не ожидая этого.

– Ага! – совсем не удивившись и как будто даже чему-то обрадовавшись, зловеще подхватил генерал. – Я знаю, что вы не можете... Вы можете постановлять резолюции, выражать порицания действиям правительства, сеять возмущение среди темных масс, но помочь власти справиться со смутой во имя общего блага и порядка вы не можете.

– Ваше... – опять начал высокий господин с перстнями.

– Чего же вы от меня хотите?.. – все более и более багровея и возвышая голос, продолжал генерал. – Чтобы я дал возможность захватить город и арсеналы и способствовать мятежу?

Наступило короткое молчание, и все вдруг поняли, что между ними стоит глухая и непоколебимо непроницаемая стена. Нечего было сказать, потому что сказать можно было одно: «Да, – откажитесь немедленно и за себя, и за всех от своей привилегированной, властной жизни и дайте другим взять свое». И было так очевидно невозможно ни им сказать, ни ему сделать это, что наступила холодная и тупая пустота.

– Да... Вы просите за мятежников, а разве не гибнем мы?.. – вдруг неожиданно заговорил генерал, и что-то совсем другое, как будто жалостное и искренно робкое, зазвучало в его понизившемся голосе. – Еще вчера был пойман какой-то злоумышленник...

Все уже знали об этом и знали, что пойманного человека расстреляли на дворе генерала, и труп его целый день лежал под окнами дворца. Лавренко ясно представился этот важный, толстый, с крупным орденом на шее, старик в генеральском мундире, не раз подходивший, должно быть, к окну и смотревший на жалкий, изуродованный труп своего побежденного «на этот раз» врага. Должно быть, на огромном лице его было выражение злобно-радостного торжества, животной радости и злобной трусости, того сжимающего сердце чувства, которое испытывает человек, смотрящий на убитую

им, чуть было не укусившую его змею. «Тот» убит, а он жив еще, но могло быть иначе и, может быть, будет. И тогда, где-нибудь на мостовой, будет так же лежать толстое, обращенное в кровавый ком или кровавые клочья, тело генерала. И кто знает, быть может, тут же, где-нибудь близко, невидимо и неслышно уже крадется к нему эта беспощадная, верная месть – смерть. И там или здесь неожиданно, неумолимо и неотвратимо грянет выстрел или взрыв и обратит его в то же ужасное и безобразное, во что обращен этот неизвестный, расстрелянный под его окнами человек.

И тут впервые ясно и сознательно Лавренко понял свою ошибку, и ему представились весь ужас и вся убогость этой пышной, важной жизни, с ее постоянной злобой и жестокостью, убивающими душу, с узким культом собственного блага во что бы то ни стало, которое незаметно отнимает самую лучшую часть жизни – свободу и сводит величественное существование до мучительных размеров – прозябания загнанного зверя.

Но генерал мгновенно оправился. Серые глазки зверя за сверкали упрямо и зло, лицо побагровело так, что побелел и ясно выступил на висках и затылке белый венчик седых волос, и голосом, в котором ясно слышалась месть за свой страх и минутную слабость, он проговорил:

– Мне не о чем больше говорить с вами, господа! Мне дорого время... Но прошу помнить, господа, – повысил генерал голос и поднял кверху короткий толстый палец с крас-

ным рубином, – что со всеми, так или иначе потворствующими мятежникам, я расправлюсь беспощадно...

Он быстро повернулся и, ступая быстрее, чем нужно, скрылся в дверях, и по его широкой спине, обтянутой мундиром, и по втянутому в плечи жирному затылку опять прошло что-то трусливое и торопливое, точно он боялся удара сзади.

Группа депутатов, не глядя друг на друга, медленно спускалась с широкой лестницы, и их черные сюртуки казались удивительно жидкими и щуплыми на ее массивных ступенях. Впереди Лавренко, сгорбившись, с дрожащими пальцами, шел знаменитый старичок, и по узкой сгорбленной спине тоже было видно что-то жалкое, пришибленное и униженное.

«А ведь громадный ум и сила, – пришло в голову Лавренко. – Ведь он мог бы сказать огненные слова... К чему же тогда и вся его слава, его ум, его таланты, если из-за самого маленького животного страха за жизнь... А я сам?» – вдруг мелькнуло у него в голове.

Он побледнел, как давеча знаменитый старичок, криво усмехнулся, не глядя по сторонам, вышел из дворца и поехал обратно на бульвар.

Как только каретка отъехала от площади с ее величавым дворцом, рядами серых солдат и неуклюжих пушек, ее подхватила и окружила невероятная толпа, точно она сразу окунулась в сплошную крутящуюся массу. Одну секунду Лав-

ренко показалось, что движется все: и дома, и деревья, и церкви, и небо, все поплыло за толпой. Блестящая от солнца мостовая сразу исчезла, растаяла в черной многоголосой массе, налезавшей на стены домов, точно волны какого-то черного канала.

Дальше нельзя было проехать. Ближайшие люди оглядывались на Лавренко. Кто-то ударил лошадь кулаком по морде и крикнул:

– Куда лезешь, черт?

Лавренко встал и пошел пешком, пробираясь в толпе.

«Нет, это не страх за жизнь... – вынырнула у него мысль все о том же. – Не страх, а что?..» – мучительно спросил он себя и не нашел ответа.

«Ехать опять в думу? Сказать им!..» – перебил он свои мысли, но, поддаваясь непреодолимому отвращению, махнул рукой, уныло влез в каретку и поехал дальше.

На бульваре Лавренко встретили молодыми радостными восклицаниями, и первое лицо, бросившееся ему в глаза, было, в синей фуражке на затылке, с курчавящимися волосами и весело возбужденными глазами, лицо Кончаева.

– Голубь мой, вы здесь?.. – с неизъяснимой лаской и грустью и мгновенно болезненно вспоминая Зиночку Зек, сказал Лавренко.

Они отошли немного в сторону, на край площадки, с которой не было видно порта, но виден был ясно серый броненосец в синем море, и, глядя на него, Лавренко спросил

Кончаева:

– Ну, что Зиночка? Проводили?..

– Да!.. – весь краснея, молодо и счастливо, очевидно вовсе не думая о том, что была возможна разлука навсегда, ответил Кончаев.

«Милая маленькая молодость, придется ли еще увидеть тебя когда?» – грустно и стыдливо подумал Лавренко, и перед его глазами проплыл юный, стройный силуэт девушки со светлыми, наивно счастливыми глазами и двумя пушистыми недлинными косами.

А Кончаев, блестя глазами и весь загораясь, рассказывал ему о броненосце, о матросах, морском офицере и человеке в пальто.

– Да!.. – сказал Лавренко задумчиво. – Это удивительные люди, но для жизни они непригодны: величайший акт их жизни – это их смерть...

XII

Целый день огромная возбужденная толпа, то рассыпаясь на отдельные кучки, то сливаясь в общую массу, двигалась туда и сюда по городу, переливалась из квартала в квартал, как ртуть, движимая собственной тяжестью, случайными сочетаниями своих человеческих атомов.

Она то бессмысленно топталась на месте, сталкиваясь и уничтожая собственное движение, то вдруг начинала катиться в одну сторону и тогда казалась осмысленной и дружной. Но организованность ее была только кажущейся: когда большее или меньшее число людей случайно двигалось в одном направлении, и когда их становилось много, толпа, как ком снега, начинала расти, увлекать на своем пути все и стихийно обращаться в тяжелую дробящую лавину, но лавина так же быстро таяла, как и вырастала, и там, где только что была грозная масса, вдруг оказывалась жалкая кучка бесцельно слоняющихся людей.

И целый день отдельные единицы, незаметные в толпе, вели упорную, напряженную борьбу, стараясь овладеть этой многоликой бесчисленногласой и разно чувствующей массой, чтобы направить ее в одно русло.

Так было многообразно движение, так необычно такое скопление разнообразных людей, так мучительно невозможна борьба с мгновенно и непрестанно возникающими поры-

вами, так велико требующее какого-то исхода напряжение, что к вечеру уже и самым уверенным стало казаться, что происходит нечто совершенно бессмысленное и бесцельное, и зловещие признаки утомления и раздражения стали вспыхивать то тут, то там.

Лавренко, целый день пробывший на бульваре, видел это, и ему казалось совершенно понятным, что толпу не удержать и что с минуты на минуту надо ожидать взрыва жестокости и жадности, естественных в этом хаосе изголодавшихся, измученных и обиженных людей.

«Естественно, – думал он, – что свобода, революция и все прочее сейчас в этой бестолковщине никому не ясны и утратили значение... Надо что-нибудь реальное... Надо схватить то, чего никогда они не имели, чего им хотелось и чего, собственно, они добиваются... Начнется грабеж!.. И как голодный, дорвавшийся до хлеба, обжирается и умирает в судорогах, так и толпа...»

И когда, уже в сумерки, слившие толпу в одну ревущую темную массу, к отряду прибежал какой-то человек и крикнул испуганным, хриплым голосом:

– В порту громят!..

Лавренко не испугался, не удивился и только, вздохнув, снял фуражку, точно ему вдруг стало жарко.

Не ему одному, а и всем становилось жутко. В темноте, скрывшей человеческие лица, толпа сделалась страшной. Что-то огромное двигалось в темноте, ворчалось, как-то уха-

ло, то останавливалось, то вдруг двигалось и казалось бесконечно громадным. Днем было видно, что это рабочие, солдаты, женщины, дети, лавочники, оборванцы, студенты, теперь это было что-то общее, громадное, совершенно непонятное и зловещее.

С бульвара было видно, как внизу, в темном порту, где уже нельзя было отличить море от берега, воровато и быстро, то пропадая, то вновь вспыхивая, забегали огоньки. Мимо отряда, через бульвар, начали торопливо, возбуждая панику, бежать отдельные кучки людей, и слышались новые, испуганные и недоуменные голоса.

– Всех бьют!.. Тикай, братцы!.. – расслышал в одной из них Лавренко.

– Ну, теперь только держись! – еще испуганнее прокричал кто-то дальше.

Высокий оборванный матрос набежал на самого Лавренко и широко раскрытыми, видными даже во мраке глазами посмотрел ему в лицо.

– Кто такие? – хрипло спросил он.

– Санитары! – ответил Лавренко, приглядываясь к нему.

– Какие тут, к черту, санитары, уносите ноги, пока целы, – не то сердито, не то сочувственно крикнул матрос и, махнув рукой, побежал прочь.

Какие-то смутные тени воровато шмыгали из города вниз в порт.

«Босяки! – подумал Лавренко. – Ишь, как вороны на па-

даль!»

На бульваре стало пустеть, утихать, и тогда из порта явственно послышался смутный и тяжкий гул, похожий на грохот приближающегося поезда. А вслед за тем, над темными массаами, в которых нельзя было отличить крыш от судов и толпы, показался огонь и заблестел в воде, внезапно оказавшейся там, где ее не ожидал глаз. Из мрака нарядно выступили бело-розовые борты пароходов, красиво и жутко посыпались вверх фонтаны искр, повалил густой, освещенный снизу дым, и послышался явственный многоголосый и нестройный крик:

– А-а-а!..

Что-то треснуло, лопнуло и раскатилось, а в стороне темного городского сада послышался отдаленный лопочущий нервный и непрерывный звук.

– Это пулеметы, – с ужасом сказал подле Лавренко молодой голос.

Лавренко оглянулся и увидел за собою ряд освещенных снизу, с блестящими стеклянными глазами испуганных лиц.

Гул в порту то рос, то падал, и в короткие промежутки его падения все явственнее, точно приближаясь, слышалось ужасное, бессмысленно однообразное лопотание.

– Боже мой, что же это такое? – пробормотал в темноте женский голос.

Далеко, в темном пространстве моря, чуть видно мелькнула слабая вспышка молнии, и через минуту долетел отда-

ленный глухой удар.

И что-то невидимое, высоко, под самым куполом темно-го звездного неба, с нагнетающим тяжелым свистом, пронеслось с моря в город.

«С броненосца стреляют!.. Началось!» – подумал Лавренко.

Так же далеко в городе послышался глухой удар, мгновенный свет выхватил из мрака вдруг показавшиеся и пропавшие силуэты крыш, и резкий звук разрыва явственно донесся оттуда.

– А-ах, – вырвалось у кого-то.

– Куда лезете?.. не видите, черти, здесь красный крест? – неожиданно прокричал позади знакомый Лавренко голос санитар.

Лавренко, ошеломленный и растерянный, кинулся на голос. Кто-то со странным звуком, хрипя, как умирающий, покатился ему под ноги, чуть не сбив его самого.

– Кто?.. раненый, что ли? – с трясущимися руками наклонился Лавренко.

Подбежали еще двое, студент опустил зажженный фонарь, и Лавренко увидел совершенно бессмысленное, разбитое в кровь лицо.

– Вы ранены?.. куда?.. – торопливо спрашивал санитар, стараясь перевернуть лежавшего человека.

Тот что-то проговорил, но нельзя было ничего понять.

Лавренко нагнулся ниже и вдруг почувствовал тяжелый

запах водки и увидел развалившийся узел, из которого рассыпались свертки чаю, бутылки и какая-то шелковая материя, изорванная и забрызганная чем-то темным.

– Пьяный? – удивленно вскрикнул студент.

Человек, шатаясь, встал на четвереньки и поднялся совсем, ухватившись за Лавренко и пахнув ему в лицо вонючим, кисло-тяжелым запахом рвоты и перегара.

Что-то бросилось Лавренко в голову: какая-то непонятная обида, злоба и беспомощное негодование.

– Скотина! – неожиданно для самого себя крикнул он и изо всей силы толкнул пьяного в грудь.

Тот отшатнулся назад, запнулся и, тяжело рухнув навзничь, перевернулся и затих.

«Чего доброго, убился?» – мелькнуло в голове Лавренко, но, весь дрожа от мучительных непонятных чувств, он только стиснул зубы и отошел, конвульсивно вытирая платком мокрую руку.

– Доктор! – растерянно сказал один из санитаров. – Мы тут ничего не поделаем!.. надо куда-нибудь в дом!..

– В аптеку раненых сносить начали!.. В Морозовскую аптеку!.. – отозвалась курсистка.

Минута величайшего раздумья овладела Лавренко: ему вдруг стал противен человек.

Все время, пока в темноте, сквозь толпы людей, налетающих друг на друга, ругавшихся, кричавших и угрожающих кому-то, его отряд пробирался к аптеке, подобрав по дороге

двух неизвестно где, кем и когда раненных людей, Лавренко думал об одном, и мысль его была полна отвращения и грусти.

«Пусть они все правы в том, что несчастны и что им есть хочется, но если в первый день, когда они почувствовали свободу и должны были ощутить первые проблески человеческой жизни, после жизни угнетаемых скотов, они не нашли ничего лучшего, как начать грабить и убивать, то не есть ли это указание на то, что при всяком положении их жизни, при всяких условиях, конечной точкой их действия явится не радость жизни, а новая и бесконечная борьба за кусок... было два, будут добиваться третьего, будет три, они станут рвать друг другу горло из-за четвертого куска... И так без конца».

Целый рой привычных мыслей о том, что люди не виноваты в своем невежестве, прилетел ему в голову, но чувство отвращения пробивалось сквозь них, принимая то образ толстого сытого человека в генеральском мундире, то образ пьяного окровавленного оборванца и вызывая в сердце жгучее чувство ненависти, от которой хотелось вдруг ощутить в себе нечеловеческую безграничную силу и одним ударом уничтожить все; так уничтожить, чтобы шар земной мгновенно обратился в ледяную пустыню. Лавренко внезапно почему-то вспомнил, что сегодня целый день светило яркое солнце и голубело небо, а он их не видал. Между солнцем и им, Лавренко, стоял то голодный, то сытый, но одинаково омерзи-

тельный, грубый и жестокий человек.

И захотелось все бросить, махнуть рукой и пойти куда глаза глядят. И как всегда, когда он задумывался о том, куда пойти, Лавренко захотелось пойти сыграть на бильярде.

Но ему стало стыдно своего, как казалось, совершенно нелепого в такой день желания, и Лавренко, сделав над собой усилие, потушил в себе злую мысль и, точно проснувшийся от тяжелого сна, вяло и как будто даже спокойно принялся за дело.

В аптеке были выбиты стекла, разноцветные пузырьки, растоптанные в омерзительной грязи из пыли, крови, обрывков тряпья, похожего на вывороченные растоптанные внутренности, и ключев розово-грязной ваты, придавали комнатам вид необыкновенный и странный, какой бывает в квартирах, из которых выехали люди.

– Доктор, а убитых куда сносить? – кричал фельдшер, проталкиваясь к нему между столпившимися, одетыми в пальто и шапки, точно на улице, людьми. Вид у него был озабоченный, но несколько не испуганный.

Лавренко подошел посмотреть на убитых. В узком коридоре их сложили рядком, как дрова, и их вытянутые ноги мешали ходить живым. Многие из них были голые, и тела их блестели голо и страшно. Первый, к которому нагнулся Лавренко, был огромный толстый человек, должно быть, страшной силы, с массивной выпученной грудью сильного животного. На груди у него было одно аккуратное темное пятнышко.

– Только и всего! – сказал задумчиво Лавренко, сам не заметив этого.

Руки со сжатыми кулаками преградили ему дорогу, Лавренко перешагнул их, стал прямо в густую липкую лужу, вытекающую из-под кучи тряпок, и у самого носка сапога увидел спутанный ком волос, крови, мозга и грязи, в котором можно было только угадать человеческий затылок.

– Фу, мерзость!.. – чуть не вскрикнул Лавренко и отшатнулся.

– Я думаю, можно пока свалить в сарай, а тут поставить кровати, – озабоченно говорил ему фельдшер.

– Ну, да... свалите в сарай!.. – задумчиво ответил Лавренко, болезненно острым взглядом обегая ряд тускло блестящих под коптившей лампой белых неподвижных лиц, не возбуждавших представления о людях. – Все равно, голубь, хоть и в сарай!..

Из задней комнаты послышался визг и с каждым мгновением стал расти и повышаться, точно там резали свинью и не могли дорезать.

Лавренко пошел туда, на ходу засучивая рукава и все сохраняя на лице выражение вялой и углубленной грусти.

Из-за спины санитаря в белом халате он увидел нечеловеческие выпученные глаза, голые ноги и над ними что-то красное, склизкое, дрожащее, как кисель.

С этого момента вне времени и пространства, уже не видя причин и последствий того, что тут совершалось, как будто

оторванный от всего мира и вдавленный в какую-то кровавую гущу разорванного живого мяса и диких воплей, идущих как будто не только из широко разинутых красных глоток, а и от непонятных круглых, выпученных в страшной муке глаз, Лавренко перевязывал одного раненого за другим, и перед его глазами, в которых не было уже другого выражения, кроме ужаса и болезненного сострадания, проходили всевозможные муки, какие только может причинить человеку человек.

На заре он вышел на крыльцо во двор и мокрыми руками стал закуривать папиросу. Холод рассвета и блеск еще видимых звезд, чистых и прекрасных, высоким куполом стояли сверху над еще темными крышами домов. Вокруг было тихо, и ясно слышался где-то за домами отдаленный гул, пронизанный сухим треском и лопотаньем пулеметов.

– Когда же этому конец? – с той внезапной злобой, которая все чаще и чаще охватывала его, вслух сказал Лавренко, бросил папиросу, не закурив, и, пошатываясь от прилива крови к голове, вернулся назад.

Его уже искали, и испуганные лица бросились ему в глаза сразу.

– Полиция!.. – трагически сдавленным шепотом, почему-то не указывая и не оглядываясь назад, сообщил ему фельдшер.

В коридоре, под слабым светом лампочки, виднелась серая шинель с блестящими пуговицами, а за нею сплошная

стена черных городских.

– Что там такое еще? – сжимая кулаки, спросил Лавренко сквозь зубы.

Изо всех дверей любопытно и испуганно смотрели санитары, сестры и раненые с забинтованными телами.

– Вы заведующий пунктом? – спросил седой усатый пристав, видимо только что чем-то возбужденный и взволнованный. Глаза у него блестели, зубы скалились, дыхание было ускоренное, как будто он гнался за кем-то и озверел и еще не пришел в себя.

– Я...

– У вас есть разрешение на открытие пункта?

– Нет...

– В таком случае потрудитесь закрыть! А раненых заберут военные санитары.

Лавренко, толстый и мокрый от пота, с завернутыми на пухлых руках мокрыми рукавами, угрюмо смотрел на пристава и молчал.

– Так вот-с, – с иронической вежливостью сказал пристав.

– Я пункта закрыть не могу, – тяжело пыхтя, возразил Лавренко.

– А это как вам будет угодно, – даже с какою-то радостью ответил полицейский. – Я прикажу стрелять по окнам, а вы примете на себя все последствия.

Лавренко молчал. Пристав немного подождал и, прибавив: «Ну, так вот-с...» – вышел. Черные фигуры городо-

вых, стуча сапогами и шашками, затолпились в дверях. И в этом кованом стуке, в литой однообразности поворотов было грозное проявление силы машины, неуклонной и несокрушимой.

И полную противоположностью этой силе был тот жалкий хаос растерянности, испуга, паники, который воцарился на пункте.

Когда Лавренко, все еще тяжело пыхтя и чувствуя, что вся душа его переполнена бессильным возмущением, вернулся в аптеку, его поразило то, что он увидел.

Крик, похожий на плач, и вопли отчаяния наполняли стены. При свете коптящих лампочек бестолково метались, похожие на привидения, белые фигуры санитаров, корчились по всем углам нелепые и ужасные призраки окровавленных, грязных, с размотавшимися бинтами раненых. Кто-то сваливал в кучу со звоном и криком инструменты, бинты, банки с ватой. Запах разлитой карболки остро стоял в воздухе. Два студента, очевидно сами не зная куда, волокли за руки и за ноги рослого рыжего человека, который беспомощно стонал, а из дверей волокли им навстречу другого, и видны были только ноги, согнутая спина несущего, а кто-то кричал оттуда злым и надорванным голосом:

– Куда вы прете?.. На двор выносите!.. На двор!..

Но сзади на студентов напирали другие санитары, бестолково путаясь с тяжелым кулем окровавленных грязпок, из которого белели бинты и торчали худые синие руки с растопы-

ренными пальцами. И вся эта безобразная, испуганная куча человеческих тел, напирая, крича и сшибая друг друга с ног, нелепо ворочалась на одном месте.

– Назад, назад!..

– Да куда, к черту?.. А ну вас!..

– Скорее, скорее...

Кто-то упустил ногу раненого, и она стукнулась об пол, как плеть.

– Пустите меня, пустите!.. – застонал надорванный голос. Лавренко стоял в дверях и молча смотрел на все. И еще больший ужас и отвращение охватили его.

– Доктор, куда теперь?.. Что делать? – бросилась к нему барышня.

– Убирайтесь к черту! – завопил Лавренко, сжимая кулаки и судорожно тряся ими. – Трусы, стыдитесь!.. Оставить, сейчас оставить!..

Его пронзительный дикий крик, как острие, прорвался сквозь весь бессмысленный хаос криков, стонов, шума и плача, и на секунду стало тихо. Застрявшие в дверях ноги торчали неподвижно, и оттуда молча, растерянно выглядывали лица. Два студента торопливо и незаметно отволакивали своего раненого на место в угол.

– Ваше благородие, а как же, стрелять будут? – пробормотал бледный, с трясущимися губами фельдшер.

– Доктор!.. – отшатнулась от него барышня.

– Пускай стреляют, пускай!.. – тем же пронзительным го-

лосом закричал Лавренко. – Мы тут нужны, нам идти некуда, и мы не пойдем. Зачем вы лезли сюда? Цель какая-нибудь у вас была?.. А теперь бежать! Оставаться, или убирайтесь все к черту!..

Лавренко весь трясся, и его пухлое, большое тело покрывалось холодным потом.

Все затихло, и наступила почти тишина, только в отдаленном углу, очевидно в забытии, монотонно и непрестанно стоял раненный в живот мальчуган.

Лавренко машинально пошел на этот стон и наклонился над лавкой.

На него глянуло синеватое бледное детское лицо с сухими растрескавшимися губами и тусклыми, невидящими глазами. Мальчик умирал, и это сразу было видно, и жаль было смотреть. Лавренко долго стоял, неподвижно глядя в умирающее личико, потом вздохнул и, горько качнув головою, отошел.

Тихо, точно боясь потревожить кого-то, растащили раненых. Санитары, не глядя на Лавренко, копошились по углам и производили на него впечатление побитых собак. Фельдшер, к которому обратился Лавренко, смотрел на него виновато и подобострастно.

Через час приехал полицеймейстер в белой шапке, хмуро осмотрел пункт и, предупредив Лавренко, что если из аптеки будут стрелять, то он разгромит ее пушками, уехал.

Все успокоились, задвигались и заговорили, и даже ране-

ные застонали громче и свободнее, точно почувствовали на это право.

Но Лавренко было худо. Необычайная апатия и слабость охватили его тучное тело, и болезненно хотелось одного – уйти сыграть на бильярде.

XIII

Когда в наступившей синеве весеннего вечера над темными крышами пакгаузов показалось розоватое зарево, похожее на восход луны, молодой офицер вынул шашку, блеснувшую в темноте, и прокричал перед неподвижными рядами солдат:

– Смирно!.. Шашки вон!.. Рысью марш!..

И первый тронул рыжую кобылу, с места взявшую в карьер.

Головы лошадей и людей шевельнулись, ряд тусклых отблесков сверкнул по рядам, и вся темная масса, сотрясая землю, рассыпая искры и напоминая отдаленный гром, двинулась вперед.

Из-за темного угла ослепительно ярко открылась жуткая и веселая картина.

Пылал огромный длинный амбар, и золотое пламя высокими танцующими языками порывалось в синее небо. Обугленные бревна, покрытые золотыми и красными углями, с треском ворочались в пламени, и снопы искр фонтанами, как от взрыва, сыпались вверх. На огненном фоне, как стая чертей, с криком и уханьем кривлялась, суетилась и над чем-то копошилась толпа.

– Марш! марш!.. Руби!.. – напрягая отчаянный голос, в котором слышались страх и злоба, и прорезывая им оглуши-

тельный рев и грохот, крикнул офицер. Его рыжая кобыла, поджав задние ноги, скачками рванулась вперед, и в пронзительном многоголосом визге шашка бесшумно, как показалось офицеру, и как будто против его воли, вонзилась во что-то мягкое и упругое.

Все смешалось на фоне пожара. Одну секунду ничего нельзя было разобрать, и люди, лошади, сверкание красных от огня шашек, гром, треск и дикий, нечеловеческий вопль – слились в один черно-огненный кошмар, крутящийся в непонятном бессмысленном вихре.

В это время Кончаев, Эттингер, человек в пальто и еще десятка два дружинников, отстаивавших от громил сахарный склад и проход к пристани, перебравшись через забор, чтобы избежать черного, ревущего в панике потока, стремглав несшегося от забора до забора во всю ширину освещенной неверным светом пожара улицы, пробрались в узкий переулок, пробежали в темноте, спотыкаясь на какие-то бочки и тюки, и выбежали к месту пожара.

Разрозненная кучка безличных черных фигур во всю прыть пронеслась мимо них.

– Скорей, скорей! – хрипло кричал кто-то из нее.

И вслед за тем показалась рыжая, как будто золотая от огня лошадь, круто забирающая ногами, из-под которых летели искры, и темная масса звенящих, гремящих кавалеристов, сверкая шашками, вынеслась на середину улицы.

– Руби!.. – кричал тонкий, не то озлобленный, не то испу-

ганный голос.

Кончаев, со стиснутыми зубами и напряженными глазами, вытянул вперед руку с револьвером и, целясь выше золотой лошади, выстрелил. Тьма переулка засверкала огнями.

– Тра-та-та-тах-тах... – непрерывной дробью посыпались выстрелы.

– А-а, так! – задыхаясь, крикнул кому-то Кончаев.

Золотистая кобыла со всех ног шарахнулась в сторону, и серый ком, звеня по камням, покатился на середину улицы, как куль, с силой брошенный о землю. Темные силуэты лошадей, и вставших на дыбы, и присевших на задние ноги, мелькнули среди хаоса света и тьмы, и прежде чем Кончаев опомнился, солдаты поскакали назад.

– Ура!.. – закричало несколько голосов.

Чувство небывалого возбуждения и непонятого восторга охватило Кончаева. Он сорвал фуражку и, размахивая ею, весь озаренный ярким пламенем пожара, крикнул:

– Товарищи, наша взяла!..

– Ура!.. – опять и громче, и веселее закричали голоса. Человек в пальто, без шляпы, выбежал на освещенное место и металлическим голосом, покрывая треск пожара, закричал:

– Товарищи, строй баррикаду!.. Солдаты сейчас вернутся! Стройте баррикаду!..

Откуда-то, громяхая, поволокли ящики, покатали бочки. Одна из них разбилась, и что-то темное полилось по мостовой. Стало весело и ничуть не страшно.

Кончаев вспомнил, что, перелезая через забор, он наткнулся на груженую ломовую телегу, и, весело крикнув Эттингеру:

– Эй, атлет, сюда! – побежал в темноту.

В переулке ничего не было видно, и Кончаев ободрал себе руку обо что-то острое. Телега была у самого забора, но завязла между бочек.

– Где вы?.. – спрашивал в темноте атлет, налезая на самого Кончаева.

– Тут, тут! берите за оглобли!.. сюда!.. Ну!.. – весь проникаясь неудержимым весельем, как когда-то, во время буйных мальчишеских игр, говорил Кончаев. Он стал тащить телегу за задок, а Эттингер напирал на оглобли. Кто-то, невидимый в темноте, подбежал сбоку, и телега, грузно и кругло заворачивая прямо на Кончаева, покатила из переулка.

– Тише, вы!.. Задавите!.. – весело кричал Кончаев. Он споткнулся на что-то мягкое и чуть было не упал. Колеса грузно переехали через это мягкое, и Кончаев догадался, что это труп убитого им офицера. На мгновение что-то гадливо кольнуло его в сердце, но сейчас же исчезло.

– Сюда, сюда!.. Вот так!.. Ладно!.. – кричал он, напрягая силы.

Телегу поставили поперек улицы, завалили бочками и тюками. Со стороны города навалили железные ворота, и что-то корявое, неуклюжее, черное и зловещее, отбрасывая колеблющуюся тень, загородило улицу.

– Флаг, флаг надо!.. – карабкаясь на верх баррикады и блеся глазами, кричал какой-то подросток.

Кусок красной шелковой материи с оборванными концами, кроваво сверкая от пожара, затрепыхался наверху.

– Вот и баррикада! – чему-то улыбаясь, сказал Кончаев.

Было весело, точно построили игрушечную крепость, и каждому хотелось еще что-нибудь придумать, устроить, улучшить «свою» баррикаду. Кончаев нашел телегу, подросток приделал флаг, какой-то приказчик сказал, что за углом сложены бревна для телефонных столбов, и Эттингер сейчас же приволок одно, оставляя по мостовой длинную борозду вывороченных камней. Бревно взвалили на самый верх, и, действительно, образовался очень удобный бруствер, из-под которого можно было стрелять.

Тем временем пожар все разгорался и перекинулся на крышу сахарного склада. Теперь горело сбоку, и тьма отступила еще дальше, и казалось, что улица кончается черными дырами в обе стороны.

Позади баррикады показались отдельные темные фигуры, боязливо подходившие и напоминавшие шакалов, тянущих на падаль.

– Ага, опять лезут, – насмешливо сказал один из дружинников.

И вдруг всеми овладела какая-то злобная обида.

«Мы тут умираем, – подумал каждый, – а они тут грабят!»

Черные фигуры, похожие на шакалов, крадучись, стали

подбираться к амбару. Из темноты послышался лязг о железо и возня. Один выбежал назад и что-то быстро и с трудом уволок в темноту. Потом раздался визг, и стало совсем похоже на драку хищников.

Человек в пальто медленно отошел от баррикады, подошел к амбару шагов на двадцать и вдруг, подняв руку, выстрелил раз и другой. Два коротких выстрела слились в одну трескучую молнию, и вслед за тем раздался дикий крик, и десятка два черных фигур опрометью выскочили из амбара и исчезли.

– Сволочь... – медленно возвращаясь, сказал человек в пальто. Глаза у него сверкали от огня и казались нечеловеческими.

Кончаев хотел было что-то сказать, но промолчал и сам удивился, как мало впечатления произвели на него эти два выстрела, направленные прямо в людей. Потом он вспомнил, что, в сущности говоря, он тоже убил человека. Он искоса поглядел на то место, где чернела короткая тень от серой неподвижной кучки. Ему показалось, что ужас шевельнулся у него в груди, но это только показалось, сердце молчало, и только мальчишеская веселость сменялась суровым напряженным спокойствием.

Захотелось покурить, но папирос не было.

Ходивший назад по улице дружинник вернулся и сообщил, что во всех прилегающих к вокзалу улицах строят баррикады, а дальше громят порт, и пожар уже в нескольких ме-

стах.

– Ну и черт с ними, – сказал человек в пальто, – не в том дело!

Известие о том, что строят баррикады, подняло всех. Почувствовалась сила, и послышались бодрые мечтательные голоса:

– Ого, здорово!..

– Мы отсюда, а с броненосца будут жарить по городу.

– Главное, что броненосец не позволит установить пушки...

– Какие же тут, к черту, пушки!

– Здорово, черт возьми!..

Опять воцарилось напряженное веселое настроение, и, когда с баррикады крикнули, что идут солдаты, никто не испугался.

– По местам!.. – властно крикнул человек в пальто.

Он взобрался на край баррикады и был виден отовсюду, освещенный пожаром, в своей позе привычного оратора, без шляпы, в пальто с поднятым воротником.

Солдаты показались как-то сразу. Как будто тьма родила их, они вдруг выдвинулись во всю ширину улицы плотной, стройной массой, над которой беспокойно и неуловимо засверкали штыки.

Одинокий металлический голос рожка запел в темноте жалобно и предостерегающе, и вдруг тьма разодралась надвое, блеснул мгновенный ряд огней, на баррикаде посыпа-

лись мелкие камни и щепки, и кто-то закричал.

– Пли!.. – скомандовал человек в пальто.

Кончаев, весь охваченный злобным восторгом, забыл о том, что его могут убить, высунулся за бревно и выстрелил. Вся баррикада расцветилась короткими желтыми огоньками и засыпалась дробью разрозненных выстрелов. Пять или шесть раз раздиралась тьма в конце улицы, и скоро вся она, наполненная треском пожара, дымом, криком, грохотом выстрелов и смертью, превратилась в сплошной ужас и кошмар боя.

Кончаев сам не заметил, как он, вместе с большинством дружинников, вылез за баррикаду и медленно наступал на солдат. Вокруг него падали люди и, корчась, откатывались по склонам мостовой, а он все наступал и стрелял, и думал только об одном, чтобы каждым выстрелом убивать человека, и убить как можно больше. Ряды солдат расстроились, и расстояние между ними и дружинниками уменьшилось так, что уже стали видны мелькающие в огне и дыму, перекошенные солдатские лица, судорожные движения рук, заряжающих ружья, и копошащиеся на земле раненые.

Солдаты отступали.

Упоительный восторг охватил Кончаева. Ему было смертельно страшно, пули дергали его за пальто и сбили фуражку, но веселая злоба, все повышаясь, сводя в судороги зубы, неудержимо влекла его все ближе и ближе, прямо в огонь.

Одну минуту он даже чуть не бросил револьвер и не по-

бежал, чтобы уж прямо вцепиться кому-нибудь в горло и покатиться по земле в судорожной бешеной схватке.

Солдаты, отстреливаясь, кучками уходили вдоль улицы. На их стороне слышались крики испуга и боли. Здоровенный унтер-офицер, с искаженным лицом, вдруг перехватил ружье наперевес и, наклонившись, очертя голову бросился вперед, точно делая последнее отчаянное усилие.

Эттингер схватился за штык, но солдат дернул его к себе, вырвал, замахнулся, но в это мгновение с невероятной отчетливостью сознания Кончаев сбоку выпалил ему в ухо. Судорожно метнулись два серые рукава, и огромный труп тяжело покатился в сторону, прямо в огонь.

И как будто это было условлено, все солдаты побежали назад, раздалось еще несколько разрозненных выстрелов, и все смолкло.

Кончаев остановился, тяжело дыша. – Наша взяла!.. – радостно, как мальчик, крикнул Эттингер. – Ура!..

И опять слышались возбужденные громкие крики. – Назад, назад!.. – махая рукой, кричал человек в пальто, и Кончаев, подняв фуражку, медленно пошел сзади всех. В нем все дрожало и рвалось, но нельзя было понять своих ощущений, и только чувствовалось, что каждый нерв живет напряженно и сильно до боли.

Они опять стали за баррикадой рядом с атлетом и смотрели на чернеющие по мостовой трупы.

– Наших двенадцать человек... Пятеро убито, а семь ра-

нено... Понесли назад!.. – говорил Эттингер, и по его совершенно веселому, возбужденному лицу было видно, что он весь охвачен восторгом борьбы, и жаль только, что и «наших», а не только врагов, пострадало много.

Последующее плохо сохранилось в памяти Кончаева. Когда появились пулеметы, издали похожие на черных сердитых жуков, и на таком расстоянии, куда не хватали револьверные выстрелы, вдруг ставшие совершенно бесполезными и ненужными, начали стрелять по баррикаде, вдруг все поняли, что все кончено.

Как будто ветром смело с вершины баррикады человека в пальто, бруствер стал дымиться от пыли, камней и щеп, по всем направлениям слышались крики и стоны, и там, где они раздавались, быстро воцарялась зловещая тишина. Все произошло с такой легкостью и быстротой, что как-то стерло в сознании предыдущий успех и все его эпизоды.

– Отступать к вокзалу! – кричал, напрягая все силы, Кончаев.

Дружинники отходили, поворачиваясь и стреляя, и у всех, и у Кончаева и Эттингера, было недоуменное чувство бессильной злобы. Но когда на вершине баррикады показались красные от близкого огня лица солдат и баррикада унижалась желтыми сверканиями огоньков, тело охватил ужас, и все бросилось бежать.

Упали сразу четыре человека и среди них Эттингер.

Кончаев бессознательно наклонился к нему, но что-то ог-

ненное скользнуло у него по плечу, и он, инстинктивно почувствовав, что Эттингера уже нет и то, что он подымает, уже не человек, а труп, изо всех сил побежал дальше.

– К вокзалу, к вокзалу!.. – кричали впереди, сворачивая в переулок.

Там было темно, как в погребке. Чувствовался страшный жар, зловещий от темноты. Кончаев, споткнувшись, ухватился рукой за стену и вскрикнул: она была горяча, как печь.

И как раз в эту минуту впереди его произошло что-то ужасное: черная стена быстро и бесшумно выпучилась, как живая, замерла на мгновение и со страшным треском, шипением и свистом рухнула, ударив в глаза ослепительным светом открывшегося за нею моря огня. А через ее темные выступы, как водопад, бешено ринулась какая-то белая, расплавленная, покрытая синими огнями масса, ударила в противоположную стену и покрыла бегущих впереди. Они исчезли в блеске и пене, как видения, и только невероятный визг сваренных заживо людей вонзился в дрогнувший воздух десятками острых лезвий, и все покрылось тяжелым сладким липким паром расплавленного сахара.

«Это сахар!..» – мелькнуло в голове Кончаева, он сделал судорожное усилие, чтобы удержаться на бегу, и, не испытывая ничего, кроме острого напряжения мозга, сообразил свое положение, повернул назад, перескочил через забор и побежал по каким-то рельсам, оставляя за собою грохот выстрелов, треск огня и крики людей.

Вокруг было темно, и отсюда он видел отдаленные вспышки молнии на черном горизонте моря и понял, что это стреляют с броненосца.

«Поздно... – с болезненным сожалением о том, что дело проиграно, подумал он. – Э-эх!..»

В конце пути уже виднелась освещенная платформа вокзала, вся запруженная черной толпой, и слышались крики:

– Дружинники, в поезд!.. Товарищи, сюда!..

Кончаев добежал до паровоза и, видя, что он уже медленно поворачивает колеса, как кошка, не соображая зачем, влез прямо на него.

«Теперь пока все равно!.. – думал он. – А там посмотрим!..»

Он еле дышал и, дрожа всем ослабевшим телом, опустился куда попало, вдруг почувствовав полное бессилие, слабость и равнодушие ко всему на свете.

Какие-то два человека смотрели на него и что-то говорили, но он не мог их расслышать.

Поезд пошел.

XIV

Еще в сумерки, хотя никто ничего достоверно не знал, в фабричном районе стало известно, что все пропало. Рассеянные толпы испуганных людей бежали откуда-то со стороны порта, «оттуда», и на них глядели с ужасом, а они сеяли по всем кварталам, по узким грязным улицам, в деревянных беззащитных домишках смятение и ужас.

В сумраке не видно было лиц, и оттого ужас терял форму и смысл и грозно обращался в бессмысленную слепую панику.

Какие-то люди бестолково перебежали из дома в дом в синем сумраке по темным окнам торопливо вспыхивали и сейчас же исчезали робкие огоньки, слышались негромкие голоса и голосный высокий плач. Лавки, двери, окна, все, что можно закрыть, закрывалось, и сумрак тревожно и странно сгущался на улицах.

Когда уже совсем стемнело, в отдалении послышалось нестройное, многоголосое пение, и можно было разобрать слова:

– Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный, помилуй нас!..

Огромная, темная, безликая толпа, с гулом и тоскливо грозным пением, точно прорвавши какую-то невидимую плотину, вдруг повалила по улице и залила ее, как поток черной движущейся массы.

Множество грубых, хриплых и страшных в своей безысходной, торжественной печали голосов, нарастая и повышаясь, загремели уже ясно и оглушительно, и рос не то смешной, не то ужасный напев:

– Святой Боже, святой крепкий, святой бессмертный!.. Над темной толпой колыхались темные мертвые силуэты убитых людей, поднятых сотнями рук, и в их медленном, тоскливом покачивании, в беспомощно свесившихся головах и руках было молчание смерти. Толпа медленно расплывалась по улицам, сливаясь с синими сумерками, и в чистом вечернем воздухе, через минуту уже далеко, замирая и отдаляясь, слышалось таинственно-печальное пение.

Кто-то крикнул пронзительным голосом:

– Солдаты!

И все опустело, только отдельные кучки и тени быстро и беззвучно, как мыши, зашмыгали в воротах.

И тогда откуда-то появились как будто никому не известные люди и, перекликаясь одинокими возбужденными голосами, стали строить баррикаду.

Когда проходила процессия с телами убитых, Сливин стоял на углу большой улицы и тупика и, сняв шапку, весь бледный и растерянный, что-то беззвучно бормотал пересохшими губами.

Да самой последней минуты, тысячи раз упрекая себя, издаваясь над собой, обливаясь холодным потом от презрения и от жалости к себе, он все надеялся, что ничего не будет.

«Надо, чтобы было... Если не будет ничего, то, значит, все наше дело только пуф, и больше ничего!...»

И при этой мысли его тоже обдавало холодом. Что-то сидящее внутри его овладело им и играло, как кошка с мышью, бросая то туда, то сюда, то отпуская, то притискивая когтями к земле, в то же самое мгновение, когда ему начинало казаться, что он вырвался.

Для того, чтобы он остался в живых, надо было, чтобы миг, которого он с восторгом ждал всю жизнь, не осуществился. Лучше было бы умереть. Для того же, чтобы он осуществился, надо было умереть сейчас, тут, страшно и мучительно. Лучше не было бы ничего, но тогда опять лучше смерть.

Это был заколдованный круг мышеловки, и там, где трусливая мышь находила выход, где приходила в голову мысль: «пусть всех убьют и все будет достигнуто, а я останусь жив...», там острые когти самопрезрения обдирали душу до крови, и казалось, что его сердце висит окровавленными ключьями.

Когда начали строить баррикаду и она, жиденькая и нелепая, кривыми рогатками примостилась на мостовой, Сливин весь побледнел и подумал:

«Что же я стою... Помогать... сейчас...»

И вдруг, сорвавшись с места, он побежал через улицу и не своим голосом, отлично слыша это и обмирая от стыда, закричал:

– Товарищи, вперед!..

Никто не обратил на него внимания, и, перекликаясь растерянными голосами, неясно видимые в сумраке люди продолжали бестолково суетиться посреди улицы.

У калитки одного дома Сливин увидел лестницу и сейчас же схватился за нее. Лестница была длинная и тяжелая, и он не мог ее поднять. Тогда он схватил ее за концы и, нелепо пятясь задом, поволок ее к баррикаде. Лестница грохотала по камням, и этот грохот тоже казался Сливину невыносимо нелепым и кричащим о его трусости.

Почему-то ему никто не помог. Он попытался сам взвалить лестницу вдоль баррикады, но она дважды сорвалась и, наконец, застряла поперек. Сливин дернул ее несколько раз, бросил и, обливаясь потом, побежал искать еще чего-нибудь.

Навстречу два человека катили бочку. Сливин хотел помочь и ухватился за край. Но втроем было неудобно, и один из кативших сказал с досадой:

– Мы сами... оставьте!..

Сливин растерянно остановился, снял шапку и стал вытирать пот, неопределенно улыбаясь в пространство. «Что же я стою!..» – испугался он.

– Товарищи! Там, во дворе, ящики есть с опилками. Тащите сюда, – закричал кто-то с другой стороны улицы.

Сливин озабоченно надел картуз и побежал туда, но ящики уже были разобраны, и делать было нечего. Сливин оглянулся, отыскивая что-нибудь, и ему пришло в голову снять

калитку. Он подбежал, схватился за низ и не снял. Перехватил обеими руками и опять не снял. Сливин обмер от позора и, тихо, нелепо ухмыляясь, вышел опять на улицу.

Баррикада была уже построена, и на ней даже болтался маленький красный флажок. Далеко за нею, в конце уходящей улицы, слабо догорала зеленоватая весенняя заря. Было пусто, и черные фигурки защитников баррикады чернели одиноко и слабо.

– У кого есть револьверы? – негромко, но властно спрашивал какой-то чернобородый человек, почему-то оказавшийся начальником баррикады.

– У меня... у меня... у меня ружье!.. – слышались голоса.

Сливин вспомнил о револьвере, и ему показалось, что он забыл его дома. Похолодев от испуга, он нащупал в кармане холодный ствол и дрожащим голосом крикнул:

– У меня есть!..

– Значит, раз, два, три, четыре!.. да ружье!.. – считал чернобородый человек. – Эх!.. жидко!.. Как же так, ей-богу?.. – прищелкнул он языком. – Ну, ничего!

Нельзя было понять, как это «ничего», когда явно было, что надо или уходить или нелепо погибнуть, а баррикады защитить никак нельзя; но тем не менее это «ничего» подействовало ободряюще. Слышались шутки и смех.

Чернобородый расставил пять человек по местам и того, у которого было ружье, поставил посредине, под флагом. На

него посматривали с завистью.

Воцарилось молчание, и только изредка позади слышались торопливые одинокие шаги, да где-то взбудораженно лаяла собака. Заря все гасла и гасла, и ночь бесшумно входила в улицу. Дома стали черными, а мостовая как будто побелела.

Прошел час и другой. Защитники сошли с мест и тихонько разговаривали, собравшись в кучки. Кое-где, в черных массах домов, зажглись слабые огоньки. Кто-то закурил папиросу, и желтенькое пламя спички на мгновение окрасило опять в красный цвет казавшийся уже черным флажок.

– Черт его знает! – тихо говорил чернобородый, – надо бы патруль выслать, а то как бы врасплох не напали... Ни лысого беса не видно...

– Куда ж тут идти?.. Наткнешься прямо на казаков... – возразил кто-то в темноте. – Будем уж тут сидеть.

– Какого черта?

– Кто пойдет? А?.. Кто хочет идти? – спрашивал чернобородый, чуть-чуть повышая голос.

– Я! – выкрикнул Сливин, точно его подтолкнули, и вскочил.

– Ну и ладно!.. Двоих достаточно!.. Идем, товарищ! Револьвер есть?

– Есть, – дрожа от внутренней лихорадки, ответил Сливин.

– Ну, айда!..

Они перелезли впотьмах через ящики и лестницу и очутились за баррикадой.

Хотя и по ту и по другую сторону была одна и та же улица, но почему-то здесь казалось светлее, пустее и жутко, как на кладбище. Шаги раздавались невыносимо гулко, и сердце замирало.

«Ладно, ладно, иди, трус!» – сказал сам себе Сливин и с невыразимым отчаянием подумал, что сказала бы Зиночка, если бы увидела его бледное, мокрое от холодного пота лицо, с выпученными глазами и обвисшими мокрыми волосами на лбу.

Они стали красться вдоль забора, завернули за угол и потеряли из виду баррикаду, казавшуюся им теперь уютной, теплой, как свой дом.

Было темно, и только чуть-чуть белела мостовая. Пустота и тишина неподвижно замерли над улицами. Но когда они вышли на край площади, за темным силуэтом церкви увидели слабое, то падающее, то поднимающееся зарево и услышали отдаленные выстрелы.

В это время штурмовали баррикады в порту. Там все горело и рушилось, грохотало и кричало, умирали люди, озлобленные до ужаса, но отсюда все казалось очень маленьким и почти безмолвным. Только было жутко.

Сливин и чернобородый остановились и долго чутко прислушивались.

– Это в порту стреляют! – прошептал чернобородый. Сли-

вин вспомнил Кончаева, и сердце его заняло тоскливо и тревожно.

– Ну, идем!

Они опять тронулись, вытянув шеи и прислушиваясь ко всякому звуку, каждую минуту инстинктивно готовые опрорметью кинуться назад.

Страх пустоты, тишины и мрака все больше и больше рос вокруг Сливина. Нервное напряжение его достигало высочайшего давления, и казалось ему самому, что если кто крикнет, кинется, он сойдет с ума.

«Боже мой, какой я трус! Боже мой, какой я трус! Боже мой!..» – вертелось у него в мозгу огненное колесо. «Пора назад!» – еле выдавливая слова ссохшимися губами, прошептал он.

– Немного еще пройдем!.. Надо же разузнать, – возразил чернородый.

Они прошли еще один поворот.

Вдруг из-за угла показались прыгающие по мостовой полосы света, послышались веселые голоса и стук подков по камню, точно там стоял целый ряд лошадей.

– Они, – шепнул чернородый, останавливаясь. – Надо посмотреть!..

«Зачем? – хотел было сказать Сливин, но мысленно ударил себя по лицу и со злобным презрением подумал: – Да, зачем – подумаешь, какое благоразумие... о-о, трус проклятый!.. иди смотри, а то!..»

Было похоже, точно у него в душе ссорились два человека, и один смертельно презирал другого и не жалел его, а другой плакал от тоски и страха.

Они продвинулись еще несколько шагов и остановились опять. Тут сейчас за самым углом горел на мостовой бойкий светлый костер, и веселые тени прыгали по розовым стенам домов. Солдаты стояли и сидели вокруг огня. Дальше в тени смутно виднелись черные лошади, и их умные морды с блестящими глазами то появлялись, то исчезали во мраке.

Два солдата боролись посреди улицы, забавно перетянув на шею свои неуклюжие шинели, и их огромные угловатые тени тоже боролись на стене. Остальные следили за борьбой и смеялись.

– Трофимов, не поддайся!.. – кричал один.

– Куда ему, ослаб! – смеясь, отвечали другие.

– Эх-эх!.. – крякал один из борцов. Чернобородый, при-таившийся в темноте, вдруг со страшной силой, судорожно сжал руку Сливина.

– Ишь, подлецы! – чуть слышно прошипел он, – там людей убивают, а они... а, мать их!.. Вот бы пальнуть! Больно ловко!.. – оживленно прибавил он.

И вдруг произошло что-то такое ужасное, что весь мир заблестел перед Сливиным, как закрутившееся в вихре огненное кольцо.

Чернобородый вытянул руку, и три поразительно резких ярких выстрела прогремели по направлению к солдатам.

Кто-то там пронзительно закричал, кто-то как будто упал, как будто сотни лиц с широко выпученными глазами заглянули в самую душу Сливина, и в следующее мгновение перед ним был только мрак, пустота улицы и быстрый ветер, бивший в лицо.

Они рядом неслись по улице, сжав в руках револьверы, и улица неслась им навстречу, мелькая в темноте черными окнами, впадинами ворот и призраками фонарей, смотревших на них, как живые.

Сливин хрипел и задыхался от бега, в груди его неудержимо колотилось сердце, и ужас, ни с чем не сравнимый, уносил его, как ураган.

– Что вы... сделали!.. – прохрипел он, задыхаясь.

– Ладно... по крайности!.. – прокричал чернобородый срывающимся от бега и волнения торжествующим голосом.

Сзади уже слышался звонкий дробный стук копыт нескольких лошадей, скачущих во весь опор, слышались озлобленные крики, и две яркие молнии с сухим треском пронизали тьму. Казалось, вся улица, весь мир ожили и бешено несутся в погоне за Сливиным.

«Все равно, – мелькало у него в голове, как бред. – Сейчас схватят!.. убьют!.. убьют!.. сейчас!..»

Он задыхался, весь рот переполнился липкой горячей слюной, и хотелось ткнуться в мостовую и тупо, покорно ждать.

Он сделал страшное усилие, чтобы подавить это смертель-

ное желание.

– Все равно!.. пропали!.. – крикнул чернобородый и вдруг остановился. – Стой!..

Но Сливин всхрипнул всей грудью, свернул за угол и, сам не зная как, ткнулся под забор, залез в какую-то глухую черную дыру и замер с хрипом и мучительным усилием, захлебываясь слюной и видя перед собой только огненные круги.

Где-то близко он услышал быструю прерывистую трескотню выстрелов, крик и молчание.

Прошло минуты две. Послышался спокойный стук подков, и во мраке неясно проехали по середине улицы невероятно, как показалось, огромные тени двух лошадей и двух людей, молча качавшихся на седлах.

Сливин долго-долго лежал в своей дыре, и то, что медленно и тупо шло перед его очами, было бессвязно и непонятно.

Его трусость, это нелепо безобразное и унижительное бегство, в котором весь мир слился в одно паническое желание спастись, эта темная дыра, похожая на нору трусливого ночного зверька, острое сознание, что он должен был остановиться, как и тот, стрелять, умереть, чтобы не чувствовать этого гнетущего презрения к себе, и не менее острое сознание невозможности и невозвратимости этого – подавили его, как гора песчинку. И в эту минуту для него самое жалкое, самое маленькое, самое гаденькое в мире было – он сам.

И в то же самое время, когда вся душа его замирала от унижения, длинное, неуклюжее тело тщательно ежилось, за-

биралось в дыру все дальше и дальше, в нелепых судорогах отвоевывая у тьмы все новый и новый кусочек невидимости. По временам ему казалось, что он исчез в темноте, что его нет, но в ту же секунду он замечал слабый отблеск света на ноге, на руке и лез дальше, точно, в самом деле, хотел влипнуть в стену.

«Подлец, подлец!.. – крутилось у него в голове. – Вылезти, сейчас вылезти!.. Дождаться, когда они будут ехать назад, и выстрелить...»

«Надо стрелять в спину, раз и два... в обоих... они не успеют и обернуться... А вдруг промахнусь, что тогда?» – мелькала под этой мыслью другая, и нельзя было не видеть этой мысли, и сознание ее, ее неуловимая живучесть томили его мозг до уродливого сумасшедшего кошмара.

Как будто бы все время мозг работал остро, напряженно; как будто ярко и непрерывно возникали образы; пение толпы, плывущей в синих сумерках, выстрел, осветивший мгновенно и ярко стену и чернобородое хищное лицо, милые нежные глаза Зиночки, бегство, крики, силуэты огромных лошадей – все это плыло мимо, сменялось, повторялось, как будто переживалось вновь, и в то же время был как будто длинный период полного тумана и отсутствия сознания, потому что вдруг толкнуло в сердце и перед глазами ясно засинел слабый предрассветный свет, показалась белая мостовая, черный силуэт укрывавших его ворот, собственные скорченные ноги. Было мучительно холодно, и во всем теле

ныла тоскливая беспомощная слабость.

Сливин, с трудом разгибая колени, выполз и выглянул на улицу.

Было пусто, тихо и светло. Озябшие за ночь голуби торопливо расхаживали по побелевшей мостовой и казались как-то странно оживленными среди общей безмолвной и светлой пустоты. Воздух был чист и влажен, а небо, светлое и прозрачное, розовело с одного края.

В первую секунду Сливину показалось, что все кончено, и он проснулся, но сейчас же услышал отдаленные неясные звуки пальбы и догадался, что где-то борьба продолжается.

«Надо идти туда!» – подумал он, вставая и качаясь от слабости. Но холодный туман тупо давил ему на мозг, и не хотелось ни идти, ни думать.

Он только посмотрел на небо и удивился, что уже прошли сутки. Как будто всего часа два тому назад строили баррикаду.

– Как скоро!..

Но потом вспомнил, сколько мелочей и ужасов поместилось в этом промежутке времени, и ему показалось, что вчерашний день, проводы Зиночки, кошка, что кралась по забору, доктор Лавренко – все это было когда-то давно, в невозвратимой вечности.

Он уже стоял на тротуаре и тупо оглядывался вокруг.

«Как тяжело, как тяжело, и никогда мне не пережить этого ужаса... Хотя-я!.. – подумал он, вспомнил при этом слове

Зиночку и грустно-радостно улыбнулся сквозь слезы, выступившие на глазах. – Ничего!.. Скоро ли, долго ли, а настанет то удивительное, счастливое солнечное время, когда все это уже пройдет и будет вспоминаться, как сон... И как странно будет вспоминать! Какая будет новая, светлая, необыкновенная жизнь!.. Как буду я дорожить каждым ее мгновением, каждым ощущением!»

Круглый и тупой звук родился в воздухе и... б-бах... разразился где-то далеко-далеко в городе.

«Пушка!..» – отчетливо сообразил Сливин и пошел вдоль забора, чутко оглядываясь и всем телом ощущая, что оживает, переполняется силой и бодростью... Лихорадочная чуткость, вздрагивающая от невыносимо громкого стука его каблучков, вела его ловко и неслышно, как тень, по бесконечному белому тротуару.

«Надо пробраться в порт, должно быть, это там дерутся», – думал он, озираясь большими острыми глазами.

– Трах-тах! – щелкнули два торопливых выстрела в соседнем переулке.

Сливин остановился как вкопанный и ясно почувствовал пот на лбу. Какая-то удивительная ловкость и сообразительность вдруг появились в его длинном вялом теле. Он быстро схватился за верхнюю доску забора, почему-то обратил внимание на цепкие, худые, синеватые от холода, грязные пальцы своих вытянутых из рукавов рук, бесшумно поднялся на верх забора и мягко спрыгнул в обширный пустой огород.

Отсюда были видны синеющие крыши домов города и далекие, густые облака дыма, медленно всползающего в бледно-сиреневое небо. Вокруг был обширный пустой огород, и ряды черных, чуть тронутых зелеными всходами гряд лежали неподвижно и пустынно, как на кладбище. Никого вокруг не было. Сливин, все еще внутренне дрожа, остановился и оглянулся. По крышам домов он догадался, в какую сторону надо идти, перешел огород, увязая в мягких грядках, ухватился опять руками за забор и поднялся на него.

Недалеко по переулку, узкому и пустому, шатаясь и что-то бормоча, двигался человек. Это был огромный худой мужчина, но нельзя было разобрать, кто такой. Черная обугленная фигура, покрытая слоем красно-черной грязи, оставляя на каждом шагу пятна крови и грязи, волочила по тротуару какие-то кровавые лохмотья, и Сливин не мог даже сразу разобрать, ключья ли это отгоревшего оборванного мяса или налипшая кровью и гарью одежда.

Но прежде, чем он успел сообразить что-нибудь, произошло нечто, мгновенно и ужасно изменившее все вокруг. Из ворот какого-то дома, как из звериной норы, совершенно молча вывернулись три человека, и первый, усатый солдат в черной шинели городского, с размаху рубанул длинной свистнувшей шашкой в мягкую и липкую кучу мяса обгоревшего человека. Острый и хриплый крик невыносимого ужаса огласил пустой белый переулок. Кровавая куча взмахнула оборванными, брызнувшими кровью руками и, тяжело

рухнув на тротуар, скатилась на мостовую, оставляя кровавые клочья на камнях. И все это ослепительно ярко врезалось в глаза Сливину не людьми, а красными, с безумными и страшными глазами, пятнами.

То, что произошло затем, было уже вне его сознания и воли. В неодолимом взрыве отвращения, ненависти и ужаса Сливин не спрыгнул, а свалился на тротуар, что-то закричал и побежал на тех людей. Он видел, как все три оглянулись на него, видел их выпученные глаза и открытые рты, видел, как двое побежали от него, а один, городской в черной путающейся вокруг ног шинели, – прямо на него. На одно мгновение мелькнули перед ним огонь и дым, в котором исчезли злобные тупые глаза, и в ту же минуту он увидел дважды сверкнувшее пламя в конце своей вытянутой руки и сквозь дым, с невероятно острой жестокой радостью, заметил взмахнувший обеими руками черный силуэт, запрокинутую голову с взъерошенными усами и вдруг черную кучу с торчащими навстречу неподвижными белыми подошвами сапог.

– Ура! – нелепо закричал Сливин и, весь наполненный острой мыслью не упустить, не глядя, перескочил через черную кучу и побежал за быстро удаляющимися по переулку двумя спинами. – Ура!..

Мгновенно из-за угла вылетела куча людей и лошадей; совершенно спокойно, точно он этого ожидал, Сливин выстрелил и с той же острой радостью увидел, что попал, но в эту

же минуту что-то треснуло его в ухо; лошади, люди, небо и дома завертелись колесом, и, как показалось Сливину, он сам по оплошности и неловкости, чего можно было бы избежать, ударился головой о мостовую.

Его подняли и поставили на ноги. Он мгновенно пришел в себя и необыкновенно отчетливо увидел все. Вокруг толпились солдаты, совершенно бесцельно, как ему показалось, хватавшие и толкавшие его со всех сторон. У них были совершенно бессмысленные красные лица, а у одного вся щека была окровавлена. Этот маленький, худенький солдатик больше всех толкал и бил его и все старался достать до лица. В стороне стояли большие худые лошади, и те же солдаты копошились над чем-то черным и серым, на чем виднелись красные пятна. Между ногами копошившихся солдат Сливин увидел неподвижно лежавшую на мостовой скрюченную руку в сером обшлаге и две пары ног, одну меньше, другую больше, белевших подошвами.

«Это я убил», – мелькнуло у него в голове, но не было уже той острой жестокой радости, а было все равно, и все внутреннее напряженное внимание сосредоточилось внутри себя около чего-то огромного, все разрастающегося, чего нельзя было еще понять.

Его ударили по зубам и разбили в кровь, но он только дернул головой и, не мигая, смотрел вверх перед собой. Ударили еще два раза, что-то кричали хриплыми голосами и вдруг отошли, оставили.

Он не понял почему и оглянулся все теми же светлыми, смотрящими внутрь глазами. Солдаты стояли вокруг и молча смотрели на него странными, как будто ожидающими лицами.

«Ну что ж? Почему меня не убивают? – удивленно подумал Сливин. – Бейте, убивайте, я убил!..»

Но он молчал, и солдаты молчали.

Должно быть, подъехал офицер на большой черной лошади, и у офицера было сердитое усатое лицо. Кажется, он что-то говорил, и слова его Сливин слышал и понимал удивительно отчетливо, кажется, офицер замолчал и смотрел на него так же внимательно и странно, как и солдаты. Но главное было не в том, а в том, что перед глазами светлело, и росло, и ширилось небо, и что внутри Сливина совершалась какая-то тайная, непонятная ему и никому огромная работа.

– Ну, что ж?.. Идите, что ли!.. – услышал он нерешительный голос и пошел.

Он пошел бы теперь куда угодно. Ему было странно вспомнить прошедшую ночь, страх, дыру. Казалось, он пережил сейчас что-то такое огромное, невыразимо полное, после чего уже все было незначительно, неважно и можно было идти, куда они хотели, хотя бы и на смерть.

Неловко толкаясь, звеня длинными шашками и неуклюже, на ходу снимая через головы ружья, солдаты отвели Сливина подальше от убитых в конец переулка и все время поглядывали на него молча, украдкой, внимательными и как

будто непонимающими глазами.

Сливин шел сам, прямо и твердо, высоко подняв голову и глядя поверх голов идущих впереди солдат немигающими, влажными, светлыми глазами, точно он вырос и стал выше всех. То же огромное, светлое и полное, похожее на мучительное счастье чувство наполняло его грудь и подымало ее в уже нездешнем восторге. «Вот и смерть, которой я так боялся, – мелькнуло у него в голове. – Конец!.. Ну, что же? Я умираю, но это вовсе не страшно и не важно».

Бледно и отдаленно мелькнули перед ним образы Зиночки, Лавренко, Кончаева, матери, взглянули ему в душу и исчезли, растопились в ее белом свете. Он был уже один, и никто и ничто в мире не могло нарушить то торжественное и светлое напряжение души, в котором на мгновение, перед концом своим, замерла его жизнь. Сливина поставили против кирпичной стены старого сарая, на едва проросшей между камнями весенней травке, и оставили одного, перед рядом шести ружей. «Ничуть не страшно и не тяжело умирать... Не в этом дело. И как я раньше не догадался об этом... – с радостно удивленной улыбкой, не словами еще, подумал Сливин, глядя на солдат и их маленькие ружья остановившимися, светлыми и влажными глазами. – Прощай, жизнь! Я не жалею... Прощай!»

Гул пушечного выстрела кругло и упруго вырос над домами и с треском разразился вверху, заглушив негромкий залп шести ружей.

Сливин, вскинув руками, схватился за траву. На мгновение выражение боли и ужаса мелькнуло в его еще живых глазах, но сейчас же сменилось спокойным и строгим выражением смерти.

Солдаты постояли над ним. И как будто ждали чего-то, что объяснило бы им то странное сложное чувство, которое встало в их тупых и кротких душах от этого непонятого убитого человека.

Они ушли, не трогая его, и труп долго лежал на траве у сарая, устремив в широкое синее небо мертвые глаза и раскинув руки, точно он хотел обнять ими весь мир, солнечный, голубой и прекрасный в своей теплой и тихой весне.

XV

Было уже утро. Паровоз стучал и дрожал от собственной страшной силы, а мимо быстро мелькали и проносились серые от росы поля, намокшие березки, мокрые стволы и крыши сторожевых будок. Было холодно и сыро, и все было серое и мокрое: и лица людей, и деревья, и блестящие металлические части паровоза. Дым, точно мокрая вата, белыми разорванными клочьями цеплялся за чахлые кустики и медленно таял позади.

На станции, которая промелькнула мимо, какие-то люди кричали и махали руками, о чем-то предупреждая, но поезд, не останавливаясь, с грохотом и звоном прошел дальше.

– Нельзя останавливаться! – сказал машинист Кончаеву так просто, точно они вместе делали одно общее дело. – Уклон близко, и если остановиться – потом не разгонишь, а нам надо пролететь во весь мах...

Кончаев тупо кивнул головой. Страшное возбуждение, в котором прошел день, теперь упало и, падая, унесло из тела всю силу и из души все, кроме сознания тяжелой, тупой усталости. Хотелось лечь где попало и заснуть, забыть все, что было и будет. Голова одновременно стала и тяжелой, и легкой, тянула вниз и качалась от малейшего толчка. Плохо соображая, он равнодушно выслушал машиниста и сел на приступочек тендера, прислонив голову к холодному твердо-

му железу. И сразу беловатый туман охватил его, и Кончаев поплыл куда-то в сторону сладко и бессильно, как человек, у которого закружилась голова.

А поезд все шел вперед. Уклон приближался со страшной быстротой. Машинист, черный, сухощавый и твердый, высунувшись из окна, напряженно смотрел вперед, и казалось, что он видит там что-то страшное. Маленький кочегар деловито и не спеша ворошил железной лопатой, и ее скрежещущий звук невыносимо лез в уши. Кончаев сквозь тяжелую дремоту чувствовал, будто именно этот скрежещущий звук и есть то, что всех мучит, но не имел силы сказать об этом. Он уже спал, хотя сознавал, что сидит на приступке тендера и смотрит прямо на циферблат барометра. В усталом отупевшем мозгу его странно мешались вместе и серые прозрачные призраки пролетающих мимо в утреннем полусвете березок и столбов, и яркие, точно освещенные большой лампой призраки сна. Паровоз стучал и дрожал, но выходило так, что кто-то тряс за плечи и говорил ему о чем-то очень интересном и даже смешном, но о чем именно, разобрать нельзя.

– П...подожди!.. – пробормотал Кончаев и опять ясно увидел все светлее и светлее обрисовывавшиеся поля, лужи, медные трубки, белый циферблат и кочегара, уже не скребущего лопатой, а неподвижно смотрящего в другое окно. И теперь казалось, что и кочегар видит впереди что-то страшное.

В голове Кончаева была пустая, непрозрачная, как бело-

ватый туман, усталость, и он сделал мучительное усилие, чтобы понять, где он и зачем. И, наконец, вспомнил, – что он на паровозе, что они увозят из города боевую дружину, что все пропало, и на уклоне вблизи дачного места, где в прошлом году играла летом музыка и он познакомился с Зиной, их должны встретить солдаты, и тогда будет смерть.

Страх и тоска шевельнулись у него в груди, и на мгновение стало тошно. Он высунулся на левую сторону и с трудом узнал место. До уклона оставалось минут десять езды.

Вдруг машинист повернулся к Кончаеву и сказал глухо и как будто равнодушно:

– Идем вовсю!.. Поддувало открыто!.. Будут стрелять, все-таки проскочим, а там Бог даст...

Какая-то белая пелена скользнула по глазам Кончаева.

– Ага! – сказал он, со страшным усилием стряхивая дремоту.

– Я предупреждаю, что мы каждую минуту можем взлететь на воздух... Либо под уклон слететь... Но ведь теперь все равно, нас расстреляют всех до одного человека!..

Машинист отвернулся и опять стал смотреть в окно. Кончаев сел на свою приступку и, силясь держать глаза открытыми, подумал:

«Что он говорит?.. Ну, да, я знаю... Мы сейчас взлетим на воздух... п-подожди!.. Да, сейчас уклон!.. Смерть!.. Ах, все равно!.. Только бы скорее все кончилось, и потом спать, спать... А Зиночка?.. Нельзя спать!..»

Чей-то тоненький голосок запел над ним длинную и странно печальную песню:

– ...Бжжж-и-бжжж-у... бжж-и-бжжж...

Кончаев открыл глаза. Маленький кочегар стоял наверху тендера, и сильная струя воды била на дрова.

– Бжж-и-бжж-у... – пела струя, то повышаясь, то понижаясь, и в этой непрестанной мелодии было тоскливое, и грозное, и печальное, как в погребальном пении.

«Господи, и когда этому конец?» – тупо и мучительно кружась, думала голова Кончаева, как будто независимо от него самого, а он видел зеленый коночный вагон и дым.

Кто-то побежал и закричал, размахивая руками:

– Товарищи!

Кончаев хотел бежать за ним, но споткнулся на мягкую и холодную кучу трупов и полез через нее, скользя в липкой крови и обрываясь среди спутанных мертвых рук и ног.

«Что ж я сплю? – говорили проблески сознания. – Может быть, сейчас смерть, а я сплю... Надо ужасаться, что-нибудь делать!.. Э, все равно!.. Лишь бы спать... Один бы конец!»

И ему стало казаться, что хорошо, если смерть. Тогда будет такое голубое, вечное спокойствие. Так сладко будет лежать и не слышать этой однообразной непрестанной мелодии, не мерзнуть, не видеть мелькающих мимо призраков, не знать, что сейчас будет она – смерть.

Зиночка подошла, взглянула ему в лицо печальными, светлыми глазами и отошла, растаяв в тумане, а кто-то опять

стал рассказывать ему что-то страшно интересное и показывать какую-то записку, на которой написано только одно слово, но перед глазами белый туман и нельзя прочесть. А нужно прочесть, и это мучительно, и еще мучительнее холодно.

Вдруг что-то изменилось, мгновенно и страшно. Кончаев открыл глаза, и они были остры и ясны, как никогда. Паровоз уже не стучал и не качался, он весь дрожал мелкой, мелкой дрожью и весь стонал. Ветер свистел мимо, и все вокруг слилось в одну бешено мчащуюся назад серую полосу. На голове Кончаева не было фуражки, и холодный мокрый ветер рвал волосы.

– Уклон! – прокричал ему машинист, на мгновение поворачивая бледную голову. И его голос сквозь стон, свист и рев чуть-чуть долетел до Кончаева, скорее угадавшего, чем понявшего смысл его слова.

И вдруг, казалось, весь мир с ужасающей силой начал заворачивать и клониться в какую-то бездну, направо и вниз.

Дикий ужас охватил Кончаева, глаза выпучились страшно и почти бессмысленно, и в то же время непонятный бешеный восторг наполнил все его тело, ему захотелось гикать, кричать, свистать. Он судорожно открыл рот, но потом не помнил, кричал или нет. Мгновенно промелькнули мимо полосы бледных желтых огней; Кончаев услышал треск и звон разбитых стекол, кто-то сильно рванул его за полу пальто, и все исчезло, как страшный кошмар. Мимо замелькали дере-

вья, зелень, лужи, и паровоз уже опять качался и стучал по-прежнему.

– Слава Богу, пронесло! – подымаясь из-за кучи дров, тоненьким слезливым голоском проговорил кочегар и, сняв шапку, стал креститься.

Железное лицо машиниста смотрело на Кончаева со странной ненормальной улыбкой.

– Ушли! – коротко сказал он.

Кончаев с радостным недоумением и чувством необыкновенной светлой легкости во всем теле рассматривал порванный рукав.

– Еще немножко, и прямо бы в бок, – весело улыбаясь, сказал он.

– Идите сюда, сюда! – кричал кочегар с верхушки тендера.

Кончаев торопливо полез наверх и увидел странные сверху плоские крыши вагонов, а за ними убегающие вдаль белые рельсы и синеватый перелесок. Далеко, далеко, все уменьшаясь, но отчетливо видные в розоватом прозрачном свете росистого утра, перебегали по опушке какие-то крошечные фигуры, и слабые круглые дымки чуть-чуть серели над ними.

Что-то странное делалось в душе: хотелось плакать от радости, кричать, смеяться, петь чистым звонким голосом, и странно казалось, что несколько минут тому назад был вокруг только беловатый, густой и тяжелый туман усталости. Казалось, что еще никогда в жизни тело не было полно такой силы, голова так прозрачно и ярко полна сознанием, а

душа – радости, такой чистой и светлой, как само прозрачное, полное света и блеска весеннее утро.

Весь вчерашний день темной полосой прошел перед глазами Кончаева и растаял в радостном свете. Могучая решимость наполнила грудь, и, точно никогда не переживая ни горя о погибших, ни омерзения перед ужасом смерти, ни страха, ни тоски, Кончаев заблестел глазами и крепко сжатым молодым кулаком погрозил в сторону города.

Небо было теперь чисто, и в прозрачно сиреновом его просторе легко и высоко стояли розовые пушистые, как барашки, облака. В той стороне, где всходило солнце, все ослепительно ярило, сверкало и искрилось белым золотом.

XVI

Из скверной, скучной и несправедливой человеческой жизни не могло сразу исчезнуть множество глупых, слабых и жестоких людей, которые делали ее такою. И волна, которую хотели доплеснуть до неба, упала вниз от собственной тяжести.

Некоторое время на поверхности еще крутились разорванные клочья пены и мутный ил, поднятый со дна водоворотом, но уже всем было очевидно, что на этот раз все конечно. В отдаленном квартале в дыму, крови и пыли, среди обломков и треска выстрелов уже без всякой надежды и, казалось, без всякого смысла кучки обречших себя на смерть все еще отчаянно защищали свои баррикады, но в центре города уже открылись магазины, очистились от обломков улицы, подмели панели, засыпали песком пятна человеческой крови, и бесконечной, суетливой вереницей туда и сюда опять побежали муравьи. За поднявшимся грохотом деловой жизни выстрелы с окраин не всегда были слышны, а когда долетали, вызывали уже только гнетущую бессильную тоску у одних, любопытство у других, усталую злость у третьих.

Те, кто пострадал, молча и уединенно по своим углам зализывали раны, а остальные всем существом ощущали одно, что они остались живы, и, как будто в первый раз поняв всю прелесть жизни, радостно вдыхали мягкий весенний воздух

и смотрели вокруг оживленными, проснувшимися глазами.

Никому не хотелось помнить, что по всем мертвецким города лежат кучки безобразных зачоченелых трупов и что эти трупы еще сохраняют черты вчера живших людей.

А между тем в возобновившейся старой, привычной жизни что-то невидимое, как червь в яблоке, начало какую-то тайную работу.

Доктор Зарницкий вернулся домой на другой день, когда уже все, казалось, успокоилось. Он осунулся, побледнел, и глаза у него блестели неровным, скользким блеском. Он чувствовал себя нездоровым, страдал от легкой тошноты и слабости, но был, как всегда, красив, аккуратен и так же твердо держал голову.

Дома он пробыл недолго, находясь в беспокойном болезненном состоянии. Что-то неопределенное, сосущее и гнетущее стояло внутри, и нельзя было отделаться от него.

Надо было обдумать свое положение, но оно ускользало от него. Сначала Зарницкому казалось, что исход найти легко: надо уехать как можно дальше и там, где его никто не знает, начать новую жизнь. Эта новая жизнь должна быть как можно лучше, красивее, полнее и веселее, потому что иначе зачем же он поступил так, как поступил. Он приехал домой с мыслью об этой жизни, полный тоскливого желанья как можно скорее развязаться со всем старым, опоганенным и стыдным, но как только вошел в свою квартиру, сразу почувствовал, что это не так просто и что узел затянут ту же,

чем он думал.

Тысячи мелочей вдруг выросли на пути: нельзя было уехать, не сдав дела, надо было расплатиться с долгами, обдумать отношение к Тане, развязаться с квартирой и т. д. и, главное, – и это открытие испугало Зарницкого – не было сил уехать, не убедившись, что действительно все кончено. Смутная надежда, крохотная, явно обманчивая, ни на чем не основанная, но живучая, все-таки шевелилась на дне души.

«В сущности, ведь никто не знает, где я был и что делал? От сборного пункта меня могли отрезать, арестовать и мало ли что. Ведь многих, наверное, действительно отрезали, но из этого вовсе не значит, что они должны считать себя опозоренными... Странное дело!..»

«Нет, что уж тут! – тоскливо отвечало сознание непоправимой действительности. – Те могут не считать, потому что они действительно... Им и в голову не приходит, чтобы кто-нибудь заподозрил их в трусости, а оттого их никто и не заподозрит. А я дело другое, я знаю. Это – арест и прочее – могло быть, но не было. И обман только ярче, глубже осветит глубину падения. Кого я заставлю поверить?»

«А может быть, те, которые знали, убиты... Ах, если бы так!..»

Последняя мысль не была мыслью, и, даже не подумав, а только почувствовав ее, Зарницкий испугался и притворился, что мысли этой не могло быть у него. Была одна секунда, когда в душе, наконец, вспыхнуло возмущение и захотелось

назло всем остаться таким, как он есть, со всеми пороками и подлостью.

«Ну, да! А и подумал... бы, так имел бы на то право. Ну, что же, пусть и убили. Никто не может заставить меня не желать этого».

Но это возмущение погасло мгновенно. Зарницкий почувствовал, что для того, чтобы самому поверить в свое право делать и думать так, как хочет, надо уметь и сказать громко то же самое. Но невозможность этого была для него явна: если бы он мог, то тогда лучше бы прямо и открыто сказать, что он, уклонившись от опасности, плевать хочет на всех. А так как он уклонился от опасности тайно и только о том и думал, чтобы сохранить тайну, то не оставалось другого, как продолжать лгать и...

– Уехать туда, где меня никто не знает!..

Так образовывался заколдованный круг, в котором с тоскою вертелся Зарницкий, стоя у окна своего кабинета и глядя не в окно, на яркую солнечную улицу, по которой шли и ехали люди, точно нарочно катаясь перед его окнами, а на носки своих изящных, светло вычищенных сапог.

Таня, в чистеньком платье и передничке, такая вымытая и аккуратная, точно она только что старательно приготовила себя для него, лукаво топотала каблучками по комнатам и ждала снисходительного внимания. Но хотя Зарницкий непоколебимо считал себя неизмеримо выше ее, для него теперь было невозможно посмотреть ей в глаза.

«А вдруг знает?» – трусливо спрашивало внутри него. Он презрительно улыбался и кривил губы, но в то же время чувствовал, что эта улыбка уже не ограждает его, как прежде, от людей, которых он считал ниже себя. Самый вопрос о том, что горничная может что-то знать о нем, как бы давал ей право знать, и это было слишком невыносимо. Зарницкий взял палку, шляпу, надел свое отличное пальто, в котором он казался еще выше ростом и красивее, и вышел на улицу.

Блеск весеннего солнца ослепил его и облегчил. В его свете растаяло темное чувство. Голубое небо, золотые столбы солнечных лучей и мелькавшие по тротуарам легко, по-весеннему одетые красивые и молодые женщины, напоминавшие ему о бесконечном разнообразии самых острых наслаждений, были так прекрасны и полны жизни, что сама собой пришла ободряющая мысль: «Все минется, а как бы то ни было, еще целая жизнь впереди».

Он облегченно вздохнул, выпрямил грудь, привычно уверенным жестом подозвал извозчика и велел ехать в больницу.

Плавно поплыла назад мостовая, замелькали дома и люди, оглядывавшиеся на Зарницкого. Стало еще легче, и будущее показалось вовсе не таким безнадежным.

Немножко стало досадно, что за проехавшим извозчиком не удалось увидеть лица маленькой блондинки, а у нее было такое розовое маленькое ушко, такие пышные сухие волосы и так она особенно колыхалась на ходу, что лицо должно

было быть интересное. Зато можно было довольно долго наблюдать за высокой брюнеткой, с удивительными черными глазами, черные волосы которой и матовый цвет лица ослепительно заманчиво выделялись из голубой подкладки распахнутой меховой кофточки.

«Черт знает! Вот подбери какое-нибудь другое сравнение, кроме жгучих глаз?» – невольно улыбаясь, сказал сам себе Зарницкий и еще раз оглянулся на молодую женщину, таинственно и гордо мерцавшую своими удивительными глазами.

«А вот это бюст!..» – вздрогнув ресницами, скользнул он по выпуклой обтянутой материей женской груди, дерзко колыхавшейся, точно дразня и маня проходящих мужчин. Задорные веселые глазки взглянули прямо на него и, точно угадав его тайные мысли, тоже вздрогнули ресницами.

Солнце светило ярко, и земля как будто таяла. Весенний воздух возбуждал жуткое сладострастное чувство, и оно было остро, почти до муки, когда впереди показывалась стройненькая, гибкая и хрупкая фигурка девушки-подростка, в которой неуловимо тонко играла смесь невинной, чистой, как утро, девочки и уже волнующейся от взглядов мужчин женщины.

– К главному подъезду прикажете? – поворачиваясь, спросил извозчик.

И все исчезло. Солнце перестало светить, женщины исчезли, весеннее небо потемнело, а внутри его большого, статного тела что-то оборвалось и упало.

«Бросить все дела, квартиру, деньги, Таньку и все, и долой, как птица... Ведь я свободен. Не надо переживать ни сомнений, ни унижений, ведь... я свободен!» Крылатая мысль нарисовала перед ним воздушный солнечный простор – свободу.

«Но ведь я этим только подчеркну, что их подозрения – правда... Ну, так что ж? И черт с ними, разве я не свободен? Нет... все равно уж... рано или поздно придется пережить это... А может быть?»

Зарницкий согнулся, как больной, и глухо ответил:
– К главному!

Если бы кто-нибудь посмотрел на Зарницкого в ту минуту, когда он слезал с пролетки, Зарницкий показался бы ему стариком, а если бы сам Зарницкий мог увидеть себя, он ужаснулся бы.

Как всегда, швейцар распахнул ему тяжелую дверь с медными ручками; как всегда, этот старый солдат ему почтительно поклонился; так же кланялись все служащие, сиделки, сторожа, встречавшиеся в коридорах, так же поспешно расступались перед его плотной сильной фигурой жалкие колеблющиеся призраки больных, слоняющихся вдоль стен, точно тени. Но для Зарницкого все это было то же, да не то. И ему самому стало понятно, что перемена произошла только в нем самом, и, поняв это, Зарницкий ужаснулся. Ему вдруг показалось, что он сам выдаст себя, выдаст каким-то необыкновенным, но ясным для всех образом. Это было бо-

лезненно, от этого острее почувствовались тошнота и слабость, томившие его со вчерашнего дня, и Зарницкий ясно почувствовал, как по всему телу его выступил липкий горячий пот и как он перестает сознавать себя и владеть собою.

«Я болен, что ли?» – со страхом подумал он.

Мгновенное бредовое ощущение пронеслось у него в мозгу. Что-то тонкое, неуловимо острое, скользя и извиваясь, побежало позади этих больных, сквозь сиделок и фельдшеров, по лестницам вверх и вниз, на мгновение наполнило всю больницу и пропало. Закружилась голова.

Делая над собой усилие и стараясь овладеть неуловимой странной мыслью, впервые пришедшей в голову, в которой вдруг почувствовалось что-то совершенно новое, неожиданное, но все объясняющее, Зарницкий поднял голову и пошел по коридору.

И тут ему попался навстречу седенький толстенький старичок, главный врач больницы. При виде его Зарницкий приостановился и съежился, точно собираясь бежать, но главный врач ничего не знал, не видал, не слышал и не воображал. Все на свете шло прекрасно: больные умирали и выздоравливали совершенно так же, как и всегда. Немного более было хирургических, но это естественно, если принять во внимание происшедшие в городе беспорядки. К тому же это уже бывало и раньше.

Увидев Зарницкого, он поспешно покатился ему навстречу, с разбегу столкнулся с ним животом, упруго, как

мячик, отскочил и, схватив его за обе руки, стал что-то об-
стругивать языком:

– Коллега, вас ли я вижу? А тут у нас про вас такие страсти
рассказывали, что ужас!

Все поплыло вокруг Зарницкого. Палаты, халаты, стены и
лица, все стало бело и безжизненно, но он опять сделал над
собой страшное усилие и, сжимая скулы в гримасу улыбки,
спросил:

– Что такое?

– Помилуйте, говорили, что вы убиты! Вчера прибежал
студент Баргузин, так тот так прямо и выразился: «Пал на
баррикаде с красным знаменем в руке...» – и уверял, что
чуть ли не собственными руками этот самый флаг из ваших
мертвых пальцев принял... А между нами, коллега, я си-иль-
но подозреваю, что он баррикад и не нюхал... Хе-хе-хе!.. Это
бывает, это бывает... – с наслаждением повторил главный
врач.

«Ну, да, я не нюхал, но ведь и ты не нюхал...» – с бешеным
отчаянием хотел крикнуть Зарницкий.

– Ну, вы живы, и слава Богу! – поглаживая его по живото-
ту, ворковал главный врач. – Оно, конечно, что и говорить...
герои... Геройская смерть за родину и общее благо. Заман-
чиво, коллега, но, право, дорогой мой, лучше мы еще пожи-
вим, лучше мы еще поживем!.. – опять повторил он понравив-
шуюся ему фразу, отскочил от Зарницкого и засмеялся.

«Издевается, каналья...» – со страданием думал Зарниц-

кий, бледно улыбаясь.

– Тут шутки не совсем... – нетвердо выговорил он, с ужасом чувствуя, что выдает себя.

Главный врач испугался.

– Ну, да, я знаю, коллега, вы революционер. Я так, коллега, я та-ак. Конечно, шутки тут неуместны, но я, дорогой, так вам обрадовался. А это, конечно, ужас! Что они делают с Россией, что делают?..

Он долго качал головой, как китайский болванчик.

«Нет, ничего не знает, а просто глуп...» – с невыразимым облегчением, приходя в себя, подумал Зарницкий.

И ему захотелось сказать доктору что-нибудь приятное, выразить ему свою симпатию и уважение.

Но главный врач не на шутку испугался и заторопился, беспокойно мигая глазками.

– Ну, до свидания, коллега, до свидания... Я уже уйду. Рад, что все оказалось вздором... Там в кабинете Анатолий Филиппович. На него, беднягу, кажется, очень серьезно подействовало. Да оно и понятно!.. К тому же он... – главный врач сделал таинственное значительное лицо, – он, кажется, серьезно скомпрометирован... Того и гляди, заберут, того и гляди... Каждую минуту жду. На квартире у него обыск был, и там, говорят, полиция сидит. Ну, так до свидания... А ему, бедняге, плохо придется, плохо...

«Вот оно!» – железным молотом ударило Зарницкому в сердце при имени Лавренко. Минутное облегчение вдрут

сменилось непоколебимой уверенностью, что именно сейчас произойдет то, чего он так боялся, чего не мог даже представить себе, как оно будет. Почему-то он всем существом своим сразу почувствовал, что Лавренко все известно. А что Лавренко не простит, не забудет, не притворится, – Зарницкий знал. Еще раз было движение уйти, но опять не хватило силы. И как котенок, которого взяла за шиворот неодолимая рука, который даже не видит и не понимает, кто и зачем держит его, Зарницкий сделал несколько нетвердых шагов и, точно во сне падая в бездонную пропасть, казалось, потерял на секунду ясное сознание.

Лавренко стоял у окна и, заложив руки за спину, смотрел на улицу. Его грузный сутуловатый силуэт чернел против света, и Зарницкому показалось, что Лавренко неподвижно смотрит прямо на него. Все замерло в нем, но когда в следующее мгновение он понял, что Лавренко стоит к нему спиной и не видит его, Зарницкий почувствовал еще больший ужас.

«Вот сейчас он обернется и увидит меня, и тогда...»

В эту минуту Лавренко обернулся, и то, что произошло затем, было совсем не похоже на то, что представлялось Зарницкому. Но еще ужаснее и непоправимее.

Зарницкий сделал несколько шагов вперед и протянул руку. В это мгновение инстинкт его ожидал удара по щеке, и его красивое, всегда гордое лицо было испуганно и отчаянно, как у человека, не имеющего сил отклониться. Но вме-

сто того Лавренко подал ему свою руку, и Зарницкий ощутил такое же, как всегда, несильное пожатие его мягкой теплой ладони. Кровь ударила в голову Зарницкого, и он с ужасом почувствовал, что рот его ослабляется до ушей, колени подгибаются, и, совершенно не понимая, что он делает, против воли, он схватил руку Лавренко обеими, вдруг вспотевшими, ладонями и стал угодливо и подобострастно трясти. Впоследствии Зарницкий никак не мог понять, как это произошло и зачем он это делал, тем более, что между его и Лавренко глазами в это мгновение напряженно, как готовая лопнуть струна, протянулось нечто, вполне отчетливо и понятно сказавшее им обоим, что они понимают друг друга.

Холодный туман, похожий на приближение обморока, затянул мозг Зарницкого.

«Что я делаю? – с паническим ужасом мысленно закричал он. – Бросить его руку, толкнуть, ударить за то, что он не ударил меня...»

Но какая-то непонятная сила держала его за шиворот, и он уже не мог вернуться назад. В то время, как Лавренко был совершенно неподвижен и, казалось, спокоен, статное тело Зарницкого как бы потеряло всю свою плотность, задвигалось киселеобразно, кружками, мелкими шажками, и губы его, ставшие вдруг тонкими и юркими, мгновенно заковеркались на границе между угодливыми улыбками и уродливыми гримасами отчаяния.

Это было до такой степени неестественно, что Зарниц-

кий физически воспринял киселеобразное, липкое ощущение своего тела, и в эту минуту, ясно для него самого, прежний Зарницкий с его самоуверенностью, обаятельностью, красотой умер навсегда, а то, что появилось вместо него, было жалко и противно. Лавренко отвернулся. И еще понял Зарницкий, что лгать уже совершенно не надо, не надо и признаваться, ибо ни то, ни другое никому не нужно и не вернет прежнего.

И в то же время между ними начался простой и обычный в этих случаях разговор.

– Ну, что, как дела? – спросил Зарницкий, как автомат, продолжая растягивать и дергать свои ставшие резиновыми губы.

– Что ж!.. Все пропало!.. – грустно ответил Лавренко. – Да этого и надо было ожидать.

– Ну, а наши как?.. – опять спросил Зарницкий, с трудом выговорив резиновыми губами слово «наши».

– Наши?.. – глядя ему в лицо, спросил Лавренко. – Почти все погибли.

– Что вы?.. – бледнея и ощущая что-то странное, проговорил Зарницкий.

– Да! Тетмайер убит на баррикаде в порту, броненосец взят. Там почти всех перебили... Батманов расстрелян... И Сливина... – губы Лавренко слабо вздрогнули, – тоже расстреляли...

– А?.. А Кончаев?..

– Кончаев... Кончаев убит в порту... Говорят, они долго защищались.

– А... – начал было Зарницкий и вдруг остановился. Лавренко с минуту пристально смотрел ему в глаза, и вдруг выражение гадливости явно изменило его лицо. Одну секунду казалось, что он плюнет Зарницкому в глаза, но вместо того, и это было ужаснее, Лавренко двинулся вперед, наступая на Зарницкого, и когда тот, вдруг съежившись, подался в сторону, прошел так же прямо, точно сквозь него, и вышел из комнаты.

Дверь закрылась, и Зарницкий остался один. С минуту он стоял неподвижно, и губы у него кривились неопределенно и судорожно. Потом он потер руки, точно ему стало холодно, и мелкими шажками прошелся назад и вперед по комнате.

У него вдруг закружилась голова, и, подчиняясь внезапной слабости, Зарницкий тяжело опустился на диван, закинул затылок на холодную кожаную подушку и, закрыв глаза, замер.

Было тихо и прохладно, как в подвале. Где-то в коридоре шаркали туфлями, и далеко, в нижнем этаже, певуче визжала дверь на блоке. Смутные звуки доносились с улицы.

Странно, что Зарницкий сначала вовсе не думал о том, что произошло. Где-то в глубине своего большого тела он ощущал чувство тонкой всепроникающей усталости и физической тоски. Белый туман и та же легкая ноющая тошнота подымались от живота к голове.

«Я болен...» – подумал Зарницкий.

И тут же вспомнил, как ночью, накануне беспорядков, встав прямо с нагретой постели, высунулся в форточку и как прохватило его тогда холодом и сыростью.

«Да, я болен... должно быть, тиф... и смерть...» – в первый раз подумал он.

«Зачем смерть? Это не может быть, это было бы бессмысленно. Зачем же тогда?.. Не может быть, нельзя, нельзя...» – диким криком закричало внутри него, но глаза у него были по-прежнему закрыты и лежал он неподвижно.

«Почему именно смерть? Глупости!.. – мысленно усмехнулся он. – Будет жизнь, а не смерть, и еще долго я буду жить, видеть солнце, женщин... И это все пройдет, что есть теперь, и еще будет огромная радость наслаждения, я опять буду чувствовать себя таким, как прежде...»

«Нет, не буду... – коротко ответил он себе. – Того Зарницкого, который сверху смотрел на всех, который верил в себя и в свое исключительное право на гордость, уже не вернуть...»

Он вспомнил гадкое, гнусное ощущение своего киселеобразного тела, свои потные ладони, угодливо жмущие руку Лавренко, взгляд Лавренко.

«Он прошел, как будто меня там и не было... И он прав: меня там не было, а было... что?..»

Было то, что, может быть, он проживет еще долго и будет совокупляться с женщинами, смеяться, есть, пить, одевать-

ся, знакомиться с людьми, избегая тех, которые могут все знать о нем, а потом, наконец, умрет; а может быть, не будет больше знать женщин, оставит их другим, потеряет вкус к пище, к питью, станет слаб и гнил и умрет завтра, сегодня, сейчас.

– Что же это такое? – громко произнес Зарницкий и весь содрогнулся.

Но он не открыл глаз, и из-под закрытых век по сжавшемуся, искривившемуся лицу потекли слезы, крупные, как горох.

Он трусливо оглянулся вокруг, как будто бы у него не хватило смелости даже плакать, и торопливо достал платок.

Пусто, гадко и тоскливо было у него на сердце, а тошнота все поднималась и поднималась к горлу, и нельзя было разобратъ, физическая ли это тошнота или нравственная.

XVII

Весенние сумерки иногда приобретают неуловимо грустный характер. Воздух становится слишком прозрачен, тишина слишком чуткой, и к живым запахам первой зелени тонко примешивается запах сырой земли, может быть напоминающей о свежерытой могиле. И тогда в сердце входит предчувствие смерти, печально одинокой и незаметной среди вечно живого мира.

В такие сумерки Лавренко шел по бульвару, тяжело сгорбившись и заложив руки за спину. Странные мысли, пронизанные этой неуловимой весенней тоской, наполняли его голову.

Все пережитое ярко и отчетливо стояло перед ним; но так же, как дым пожаров, выстрелы и стоны не могли слиться с тонкой тишиной весенних сумерек, так и его большое усталое сердце не могло принять в себя всего пережитого, и он чувствовал, что между ним и людьми, с их ожесточенной борьбой, стоит что-то холодное и непроницаемое.

Страшная тоска овладевала им, и ей не было исхода. Хотелось сделать что-нибудь большое, нужное, что наполнило бы душу и вытеснило из нее то острое, тошное отвращение, которое было в ней с момента истерического припадка в аптеке. Но мысль бессильно ползала вокруг, не подымаясь, точно птица с перебитыми крыльями, и как-то выходило так,

что хотелось только пойти играть на бильярде. Лавренко ясно чувствовал в душе нечто особое, что бывает в жизни один раз, и ему было стыдно, что в такой момент одно нелепое стуканье палкой по шарам приходит ему в голову.

И чтобы преодолеть это желание и собраться с мыслями, Лавренко сел на лавочку, в том месте, откуда сквозь редкие веточки деревьев было видно внизу огромное черное пожараще порта, а еще дальше и ниже темное неподвижное море, положил подбородок на скрещенные на палке руки и засмотрелся.

Как всегда, грустное умиление и тихая скорбная радость, подступая к увлажнившимся глазам, стали плавно подыматься у него в сердце. Так было тихо, хорошо и красиво и на море, и в небе, и на земле! Даже пожараще, с его траурно-бархатной чернотой, казалось отсюда мрачно-прекрасным. И Лавренко с грустью вспомнил, что за эти три дня он ни разу не заметил, было ли небо голубым, светило ли солнце, стояла ли на земле весна, мерцали ли звезды. Ему пришла в голову странная, трудно уловимая мысль.

«Ужас человеческого горя состоит не в том, что оно – горе, а в том, что, становясь между человеком и природой, оно закрывает от глаз ее тихую и властную красоту. Если бы в самые острые минуты горя и гнева человек мог видеть все вокруг, – не было бы на земле ни гнева, ни горя, легко наступало бы примирение...»

Лавренко закрыл глаза, чувствуя, как опять подступает к

горлу судорога отвращения к людям. Не к одному, не ко многим, а ко всем людям, которые не умели жить среди данного им прекрасного мира, загадили его своей бесконечной глупостью, отняли его и у тех, кто мог бы жить хорошо, и еще осмеливаются кричать вокруг него, ненавидящего и презирающего их Лавренко, о том, что их надо любить и жалеть.

– Я почувствовал бы самое острое счастье в тот миг, когда мог бы взорвать на воздух всех этих идиотов, кретинов, которые говорят, что они – люди, когда очевидно, что они только человекоподобные обезьяны... Господи, если, хотя бы на одно мгновение, совершенно ясно представить себе ту огромную разницу, которая лежит между теперешними существами и даже той несовершенной формой будущего человека, которую сами же они, с их скудным воображением, и то могли же выдумать, то станет... смешно, – громко проговорил Лавренко последнее слово и криво усмехнулся, слегка пожав толстыми сутулыми плечами.

И, должно быть, это слово для Лавренко выразило больше, чем оно выражало, потому что после него в душе стало вдруг мертвенно пусто, как в доме, из которого вынесли покойника. Как будто после большого усилия Лавренко почувствовал мгновенную усталость, и опять захотелось не думать, пойти играть на бильярде, и опять он отогнал это желание и затих.

Глаза у него были закрыты, но казалось, что и сквозь закрытые веки он видит темную глубину неба и холодный чи-

стый блеск звезд. И в тишине, на этом звездном таинственном фоне, тихо и легко проплыл перед ним образ милой девушки с радостно удивленными глазами, с двумя недлинными косами, перекинутыми на невысокую грудь.

«Ах... это ты... милая – „Маленькая молодость“, – грустно улыбнулся ей Лавренко. – Твоя чистая молодость, красота, тот прекрасный мир, который носишь ты в своем сердце и в своем теле, еще долго не дадут тебе пасть в эту грязь, называемую человеческой жизнью... Будешь ты горько плакать, когда узнаешь о смерти Кончаева, поплачешь о бедняге Сливине, может быть, и обо мне, но никакое горе не отнимет у тебя твою молодую могучую жизнь. Будут и радости, и горе, а жизнь...»

«Я сентиментальничаю...» – с горькой усмешкой перебил себя Лавренко.

Он открыл глаза, посмотрел на далекие уже яркие звезды. «Что ж, чем больше я буду жить, тем больше буду убеждаться, что не могу взять от жизни того, что мог бы, чего мне надо от нее. И рано или поздно наступит конец, а я спрошу себя: ну, что же? Зачем я жил?»

Опять пронеслись перед ним призраки окровавленных, замученных людей, пожар, треск, грохот; как черти заскакали, сами себя терзая, идиотские, тупые человеческие лица. И вдруг все покрылось красивым, гордым, холеным лицом Зарницкого. Лавренко весь вздрогнул от нового, еще необычного чувства отвращения и ненависти. С несказанным му-

чительным наслаждением ему захотелось растоптать каблуками, уничтожить, как грязную мокрицу, это лицо.

«Вот эти, которые знают, которые могут, в руках которых то самое знание, которое могло бы в один миг уничтожить всех идиотов, всю гадость и пакость человечества, злобную, но бессильную в своей темноте, и которые из подлой трусости, из-за лишней женской... на ночь продают дикарям свою силу, отдают мир на съедение свиньям».

«А я сам?» – сурово спросил Лавренко вдруг.

«А я что ж? – я дрянь, я тряпка, я не мог жить так, как понимал и хотел, играл на бильярде, толстел, плешивел и ждал, что жизнь сама меня воскресит. Ну, да, но я знаю это и сам расплачусь с собой».

Лавренко встал.

В темном небе золотисто-бриллиантовым рожком, тоненький и грациозный, уже стоял над морем первый месяц. Вокруг него небо казалось черным, а внизу по морю, искрясь и сверкая, тянулся золотой ручеек.

Лавренко долго и упорно смотрел на месяц и дышал тяжело и трудно. Потом медленно достал из кармана платок, долго вытирал глаза и, сгорбившись, пошел по безлюдному бульвару по направлению к своему ресторану.

Дорогой он уже не думал о том, о чем думал на бульваре. В его вдруг отяжелевшей голове мелькали мысли о том, что его ищут по всему городу, что если бы он поддался, его схватили бы какие-то оголтелые идиоты, зачем-то потащили, по-

садили бы в одну комнату, сидел бы он там дурак дураком, а они черт знает зачем сидели бы и на него смотрели.

И так шла бы его и их жизнь, а на небе в это время светил бы бриллиантовый месяц, с моря дул бы теплый, почти летний ветер, и легко и радостно дышалось бы в полях и лесах.

– О-о... идиоты проклятые... – злобно прошептал Лавренко, качая головой. И ничего, ничего им не скажешь... и скажешь, и поймут, и понимают сами, а все-таки еще тысячи и тысячи лет будут сидеть и сквозь железную решетку смотреть друг на друга идиотскими глазами.

– Нет... довольно... будет с меня! – махнул рукой Лавренко и вздохнул, как будто сбрасывал с себя огромную тяжесть. Он приостановился и думал, глядя в землю. Потом улыбнулся и пожал плечами с грустной иронией над самим собой.

«Пусть уж в последний раз», – как будто просясь, подумал он.

Так же, как всегда, было много народа в бильярдной, но передний бильярд, на котором любил играть Лавренко, был свободен, и со всегдашней радостью Лавренко это увидел, как только вошел. Чистое, ровное, широкое сукно ярко зеленело под рожками двух ламп.

Как только Лавренко увидели, произошло движение. Маркер с веселой и дружелюбно почтительной улыбкой торпливо стянул с его толстых плеч пальто. Тот самый красивый армянин, с которым все последние разы играл Лавренко, поднялся с места и подошел к бильярду, любезно улыба-

ясь и потирая руки.

– Ну-с, – почему-то также потирая руки, сказал Лавренко, – сразимся?

– С большим удовольствием!.. – осклабился армянин. Намеливая кий, Лавренко через плечо небрежно спросил:

– Ну, почему мы?.. Угодно сто? Армянин стыдливо улыбнулся.

– Много будет... Ну, ничего, пошла!.. – решительно тряхнул он головой.

Игра началась, и первый же откатившийся от борта пятнадцатый шар через весь бильярд с треском лег в лузу под ударом Лавренко.

– Вот это так шар... Здорово, черт возьми!.. – послышалось вокруг.

И Лавренко почувствовал знакомую нервную радость, тревожно следя за армянином, старательно прицеливавшимся на дублет четырнадцатым. Шарик шелкнул, и четырнадцатый шар, заставив нервно вздрогнуть сердце Лавренко, плавно вкатился в лузу.

– Вот так начало! – сказал кто-то. «Эх, досада...» – подумал Лавренко.

Шары шелкали, то стремительно, то чуть двигаясь по зеленому сукну, катались они по бильярду, и их становилось все меньше, а лица у игроков становились все напряженнее и возбужденнее. Дым синими клубами низко висел над бильярдом, кругом смеялись, острили, жадно смотрели, и бы-

ло жарко.

Когда осталось два шара, Лавренко сделал скикс, и маркер провозгласил:

– Пять очков... Анатолий Филиппович, у них без двух... Лавренко с досадой скрипнул зубами.

Два шара стояли рядом посреди бильярда, а Лавренко целился из угла. И в ту самую минуту, когда армянин, уже спокойно и победоносно смеясь, отвернулся, что-то говоря, раздался сильный и резкий удар, белый шарик опроретью мелькнул по зеленому полю и исчез.

– Ох, черт! – вскрикнул армянин, стукнув кием об пол.

– В последнем шаре партия, – бесстрастно провозгласил маркер.

Лавренко весь сжался от особой острой радости игрока, но, не подавая никакого вида, опять прицелился. Стало тихо, и вдруг почему-то все почувствовали, что шар будет взят. И в ту же секунду, с тем же резким и отрывистым треском, последний шар скрылся в лузе.

– Партия... Ого-го... Дьявол!.. – затопотали и захохотали вокруг.

Армянин побледнел так, что его бритая борода посинела. Он тихо положил кий, не глядя на Лавренко, бросил на сукно сторублевую скомканную бумажку и отошел. Лавренко всегда почему-то стыдно было брать от небогатых здешних игроков крупные деньги, но на этот раз прилив злобной радости наполнил его грудь.

– Больше не хотите? – спросил он, тяжело дыша. Армянин, у которого дрожала нижняя губа и бегали глаза, отрицательно покачал головой. Лавренко медленно взял деньги, положил кий и отошел.

– Не желаете ли со мной партийку? – угодливо спросил тощий облизанный старичок с хищным выражением лица.

Одну секунду Лавренко колебался, его тянуло к бильярду, но он удержался.

– Нет, будет... – с грустью ответил он.

Бильярдом сейчас же завладели. Шулера вырывали друг у друга кии, как собаки кости, кричали и ругались. Лавренко, надев пальто и держа шляпу в руке, постоял и тупо посмотрел на сукно бильярда. Потом встряхнулся, надел шляпу и пошел через черный ход. Маркер, думая, что он идет в уборную, поспешно отворил ему дверь. И, чтобы он не догадался, Лавренко и в самом деле пошел туда. Но сейчас же вышел, отворил дверь на вонючую узенькую лестницу и, держась впотьмах за липкие перила, спустился во двор.

Это был маленький четырехугольный дворик, скользкий, грязный, вонючий, как сточный колодец. Вокруг стояли черные стены без окон, резко блестело в черноте какое-то случайно освещенное месяцем железо, и от месяца же одна стена была голубая, с резко очерненным на ней синим силуэтом соседней крыши с ее трубами и флюгерами.

– Федька... порцию бифштекс, – прокричал кто-то с лестнички вниз, в ярко-желтую отворенную дверь кухни, откуда

несло чадом и жаром.

Лавренко отодвинулся в тень и стоял молча.

– Слушаю, – отозвался кто-то снизу. Скрипнула дверь на блоке, и все затихло. Далеко, далеко прокричал паровоз:

– Гу-гу-гуу?..

Лавренко поднял глаза к месяцу; тот, как живой, стоял низко над черной и страшной стеной, за которой не чувствовалось жизни. Бриллиантовый рожок блестел ярко и холодно, небо было синее-синее. Лавренко вздрогнул от пробежавшего по спине холода и вынул револьвер. Перед выстрелом он зачем-то долго старался утвердиться на скользкой земле, очевидно облитой помоями, и отшвырнул носком сапога что-то круглое, твердое, как кочан капусты. Ему не было страшно, а только грустно от сознания своего одиночества. Месяц до половины скрылся за черной трубой и зорко смотрел оттуда.

XVIII

Опять за прошедшим днем наступали сумерки, и в дачной местности, с ее игрушечными домиками, тоненькими безлиственными деревцами и прозрачными ажурными решеточками, они казались особенно весенними, задумчиво нежными и прозрачными.

Кончаев быстро шел по пустым переулкам, мимо темных дач, казавшихся такими жутко таинственными, как пряничные домики бабы-яги, и растерянно заглядывал в пустые палисадники. Он забыл номер дачи и долго искал ее, как вдруг, возле одного заросшего еще голыми кустами сирени садика услышал легкий и радостный вскрик.

Зиночка стояла по ту сторону решетки и радостными, светлыми даже в сумерках глазами смотрела на него, ухватившись за решетку обеими руками.

Странно и мучительно приятно вздрогнуло сердце Кончаева.

– Сюда, сюда, – проговорила Зиночка и пошла вдоль изгороди, а Кончаев пошел по другой стороне, и как-то странно, чересчур быстро кончилась эта зеленая деревянная решетка. На мгновение Кончаев увидел перед собою Зиночку, всю, с ног до головы, в черном гладком платье, с невысокой грудью, с круглыми точеными руками и двумя недлинными пушистыми косами, а в следующий миг все исчезло, и что-

то мягкое, пахучее и нежное обвилось, казалось, вокруг всего его тела, и весь мир сменился одними светлыми, наивно счастливыми глазами.

Сладкая волна поплыла под ногами, и, должно быть, оба они покачнулись, потому что разом ухватились за решетку. Она коротко засмеялась, точно ей стало смешно, что столько времени они скрывали друг от друга то, что обоим было известно и нужно. Но сейчас же она опять стояла в двух шагах от него, гибкая и смущенная, не сводя с его лица больших, спрашивающих глаз.

– Ну, вот и я!.. – проговорил Кончаев и улыбнулся. – Рады?

Она молчала и стояла неподвижно, не сводя глаз. И тоже глядя прямо в эти потемневшие, ставшие вдруг тягучими, глаза, Кончаев тихо подвинулся к ней. Но Зиночка протянула руку, чуть-чуть взяла его за кончики пальцев и потянула за собой.

– Пойдем! – чуть слышно сказала она.

Они молча, почему-то крадучись, дошли до дачи и поднялись на крыльцо. Темный сад и небо с заблестевшими звездами остались за ними.

– Ваши дома? – тихо спросил Кончаев.

Зиночка посмотрела на него серьезно и кивнула головой.

– Да!.. Пойдемте ко мне... Я так измучилась. Я думала!..

Зиночка не договорила и всем телом прижалась к нему. Кончаеву показалось, что на глазах у нее выступили слезы,

но она тихо улыбнулась и опять потянула его за руку.

В комнате Зиночки было темно и пахло чем-то нежным и чистым, как будто тут целый день были открыты окна в сад. Кончаев вошел почему-то на цыпочках и остановился посреди комнаты. Тревожное и сладкое чувство было в нем. Чего-то страшно, что-то сладко томило, чего-то радостно и боязливо ждалось. В темноте смутно белела кровать, туалет в углу мерещился легким призраком, и было странно, что он, Кончаев, такой большой, неуклюжий и как будто чужой, стоит в этой маленькой, чистой и таинственной комнате.

Зиночка прошла прямо к окну и остановилась там, глядя в сад. На голубоватом четырехугольнике окна четко и гибко рисовался ее тоненький силуэт с хрупкими плечами, крутыми бедрами и легким прозрачным сиянием волос вокруг головы.

Кончаев опять тихонько двинулся к ней, а Зиночка так же тихо повернулась и обняла его мягко и сильно.

Весенний, и прохладный, и теплый воздух, тихо струившийся в открытое окно, чистый сумрак, тот страшный ужас, который в эти три дня обнажил перед ними всю жизнь, та опасность, которой он подвергался, та смерть, которая прошла так близко, что был слышен шум и грохот ее шагов, то, что он мог уже никогда не быть здесь, и, наконец, та молодая и чистая жизнь, которою были полны их здоровые, сильные, как молодые звери, тела что-то сделали с ними. И сразу исчезло все другое, кроме их двоих и полного счастья двух

обнявшихся, сильного и нежного, большого и маленького, твердого и гибкого тел, обдающих друг друга сладко томительным жаром и теплым густым туманом.

Огромные светлые глаза, вдруг ставшие черными, как бездна, волосы, рассыпавшиеся внезапно и пышно, и две трепещущие теплые руки одни остались перед Кончаевым, и острое, счастливое, как сон, всеобъемлющее наслаждение стало для них общим.

Минуты шли, и темнота сгущалась по всем углам, а в окно по-прежнему лился пряный, торжествующий и одуряющий теплый запах весны. Все смешалось: слова, поцелуи, картины прошлого и надежды на будущее, гордость перед нею и гордость за него, желание всем, чем можно, вознаградить милого за пережитое им. И не стыдно было нежного и гибкого голого тела, что-то спрашивали и все позволяли побелевшие глаза, груди дышали трепетно и прерывисто, как в минуты самого большого счастья на земле.

Потом Кончаеву было странно вспоминать, что они не сказали друг другу ни одного слова об этом, а все совершилось как-то само собой. Но им никогда не было стыдно, а всегда мечтательно приятно вспоминать это.

Он соскользнул с постели на пол и с невыразимой нежностью целовал ее маленькие пухлые пальчики, стараясь в эти поцелуи передать бесконечные любовь, уважение, умиление за то счастье и наслаждение, которые она дала ему. Все чувства в это мгновение сливались в них в один многозвучный

могучий аккорд жизни и любви, и она, забывая закрыть свои голые, стройные ноги, которых он касался горячей щекой и которые розовели ярко даже в сумраке, посреди черной и белой смятой материи, удивленно-радостно оглядывалась вокруг светлыми глазами.

Все казалось ей новым и радостным, все тело ее, молодое, свежее, как сбрызнутый утренней росой цветок, было полно счастьем, и где-то, в таинственной глубине его, была принята ею в себя новая, еще неизвестная, человеческая жизнь.

И светлые глаза Зиночки плакали от еще непонятной ей самой радости, а в открытое настежь окно, сквозь черные ветки сада, смотрели в комнату весенние звезды.